

Владимир Шапко

Подсадная утка

Повесть

12+

Владимир Макарович Шапко

Подсадная утка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31546302

SelfPub; 2018

Аннотация

Повесть насыщена приключениями тринадцатилетнего Пашки Колмыкова, рыбака, охотника и уличного мальчишки.

Главы

1

Волчьими, душными свадьбами скатился, отвыюжил февраль 49-го, четвёртого послевоенного года, и маленький приалтайский городок затаённо проступал из льдистого мартовского снега. На белесом, заспанном небе солнце ещё квёлое, неумытое, но уже к обеду сосулистые бороды домов, колко отблескивая, плакали неудержимо-радостной слезой. Розовато-прозрачная, тёплая синь держала городок. Однако день уходил, солнце зябко съёживалось, куталось в розовый платок и вместе с самой последней чудо-капелькой-капелькой, ожемчуженной, неподвижной, повисало в вечере.

В один такой погожий день Пашка, как обычно погоняв голубей, кормил их во дворе. Он бросал корм на серый лист фанеры, валяющийся у крыльца, и встопорщенные голуби грудились в кучу. Казалось, зерно кипит, пляшет на фанере, само прыгает в жадные клювы.

– Па-ашка! – послышался голос Гребнёва из соседнего двора.

Пашка удивился, с чего бы это? – но, положив наволочку с кормом на крыльцо, побежал по хрупким лужам и перекинулся через штакетник. Подошёл. Поздоровался.

Гребнёв смахнул с чурбана расколотое полешко, ки-нул-воткнул топор и полез за папиросами. Вокруг чурбана и козел натаявшие со всей зимы жёлто-мокрые опилки, щепки, тут же поколотые дрова кучкой, двор по-весеннему обнажившийся, набухающий, местами погружённый в талую, прозрачно-живительную воду.

– Ну что, Паша, скоро н-на охоту п-пойдем? – Гребнёв заикался, но это было привычно.

– Да какой же вы охотник, дядя Гребнёв? – искренне удивился Пашка. – Я ни разу и не видел вас за Иртышом... Да и ружьё ведь надо!

– Есть, есть ружьё. Во р-ружьё! – Гребнёв изогнул большой палец рогом.

– Ну-у! Так тащите скорей! Посмотрим!

– А чего та-ащить? Айда в дом!

Гребнёвы года три уж как соседи Пашки, но Пашка ни разу не был у них в доме. Не пришлось как-то. А теперь вот вроде бы и неудобно. Сразу. Без подготовки...

– Пошли, пошли! – похлопал его по плечу Гребнёв. – Мы люди п-простые.

Года три назад, когда пасмурным осенним днем Гребнёв с матерью и всем её барахлом въезжал на телеге в этот двор – все ребяташки соседнего коммунального дома сбежались и налипли на штaketник.

Откуда-то сразу стало известно, что дом этот с расхри-

станной над крышей скворечней – будто прямо с прежней хозяйкой ягой Лещихой на шесту – новый сосед купил за двадцать тысяч. Двадцать тыщ! Это ж подумать только! – обалдело мотали головами сопливые зрители. Их матери, зло выбивая половики, определённой были: жулик! Экспедитором на хлебозаводе работает – ясное дело!

Но больше всего ребят поразила какая-то дико-карикатурная некрасивость нового жильца, его маленькая птичья головка с почти перпендикулярными ушками и тонко вспоротый, как кошелек, рот; светлый «боксик» жиденько свисал на бегающие глазки. А когда он распахнул рот свой и что-то быстро заговорил матери – ребяташки отпрянули от штакетника: «кошелек» был полон железных зубов, то есть весь утыкан железом! «Как склянки зазвенели!» – испуганно сказал Валька Ляма, круглоголовый, с большой фантазией мальчуган. (У него, например, ТАСС означало: ТАИНСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА.) И действительно, железные зубы эти своим матово-синим цветом напоминали какие-то склянки, наполненные жидкостью. Во время разговора они будто позванивали, плескались, и рот Гребнёва сразу становился мокрым. «Постучать бы по этим склянкам маленьким молоточком. Вот бы музыка была-а!» – мечтательно сказал Ляма.

Новый сосед сильно заикался. Слова вылетали изо рта его стаей голодных волков и беспощадно рвали друг у друга хвосты, а то и головы. Когда он волновался, понять, о чём он

говорит, было трудно.

– ...ааша... ааш... оль... г-г-овори... вам... не ери-ите э-этот с-са-амо-а-ар!

Что это?! А это он говорил матери, сидящей на телеге и вцепившейся в зелёный от старости самовар:

– Мамаша, мамаша! Сколь вам говорил: не берите с собой этот самовар! – И вырывал несчастный самовар из крючка-стых рук старухи.

На новом месте прежде всего сосед сбил с крыши одичавшую скворечню. И установил... флюгер... А потом вообще повёл себя странно: ни он ни к кому, но уж и к нему чтобы никто! Бывало, в пылу отрыва от погони перемахнёт какой-нибудь оголец через штакетник в его двор – Гребнёв подзовет парнишку, молча возьмёт за ухо и выведет за ворота. И всё. И обидно, что возьмёт-то как-то не больно, но уж очень брезгливо. Руки ещё потом отряхивает. Вывел так человек трёх – и перестали ребятишки сигать в его двор.

Станным всё-таки этот дяденька Гребнёв-Склянки оказался...

Правда, потом к нему стала приходиться тётя Лиза, и он женился. Вернее, даже не женился сперва, а... как бы это сказать?.. сначала тётя Лиза, его жена, ну как бы будущая ещё, приходила и уходила. Просто так. А потом... потом её долго не было, с полгода, наверное. А ещё потом она пришла к дому дяденьки Гребнёва, кричала матерно на всю улицу, а также била ему окна и совала туда спелёнатого Вадьку, а

Вадька орал с угрозой и басом. Но дяденька Гребнёв молчал и где-то там внутри прятался. А дальше он женился на тётке Лизе. Свадьба была, и гости орали песни из раскрытых окон. Как бы во второй раз женился дяденька Гребнёв, получается. Но Вадька уже готовый был, и дяденьке Гребнёву хорошо.

– Л-лиза! Вот п-привёл!

Тётя Лиза улыбается и протягивает Пашке руку. Вроде как знакомится. Хотя и знает Пашку давно, но вот... знакомится как бы наново и уж больно с восторгом смотрит на него. Пашка даже обернулся. Но сзади дядя Гребнёв – тоже улыбается. Все улыбаются. Хорошо! Прошли в большую, светлую комнату. «Зало, – удовлетворённо отметил про себя Пашка. – Хорошо, уютно, чисто». Вокруг стола карапузит Вадька, накаченный, как резиновый слонёнок. Тётя Лиза берёт его на руки и встряхивает, дескать, во какие мы жирные! А сама в сравнении с Вадькой уж очень худа – вон как ключицы-то крылят, – страсть худа тётя Лиза.

– Ну так, дядя Гребнёв, давайте... посмотрим ружьё-то, – застенчиво почесывая затылок, сказал Пашка.

– А! – Гребнёв кинулся к комоду, выдвинул широкий ящик. Пашка принял на ладони ружьё в чехле. Будто пронюхивая его, пустил глазами от кожаного чулка – по брезенту – к застежному ремешку: ну что ж, чехол хорош! Пашка сел на стул, упёр чехол кожанкой в пол, начал расстегивать ремешок. Гребнёвы напряжённо застыли. Пашка вынул приклад, осмотрел: так, понятно, «тулочка», ТОЗ, видать, последний

выпуск – потому что «бескурковка». Приклад хоть не оrehовый, но берёза крепкая. Тыльник, правда, железкой простой подкован, не как у отца – богатой ребристой пластмассовой, но там-то «зауэр три кольца!» Однако приклад ничего – прикладистый. Пашка аккуратно отложил приклад, вынул из чехла стволы и резко вскинул. Гребнёвы отпрянули – стволы будто из глаз Пашкиных выскочили. Пашка видит на свет два плавных кольца, будто сизой дымкой спянных. Неплохо! Смотрит по очереди сначала в один ствол, затем в другой – два сверлёно-убегающих зеркала. Отлично! Нажав у ствола торчковую кнопку, отделил цевьё. Тоже берёза, но насечка шершаво-чёткая, руке удобно. Доброе цевьё! Пашка отложил цевьё, взял приклад. Мягко вставил в пазы приклада стволы и с нажатыми курками распрямил ружьё. (Пашка знает: курки взведутся, если на них не нажать при сборке ружья. А коль взведутся, значит, их надо спускать, то есть попусту, дураком, щёлкать, а без патронов в стволах курковые пружины слабнут, и будешь потом на охоте осечить.) Пашка приложил к стволам цевьё, щёлкнул – всё!.. Да! – ремень ещё на стволах застегнуть... Порядок! Пашка громко хлопнул по прикладу, вскочил со стула, ружье взлетело к плечу – он бьёт навскидку! Гребнёвы в стороны: опасно, однако!

– Ну что ж, дядя Гребнёв... Ружьё хорошее, можно сказать, отличное ружьё! – Пашка выкинул руку с ружьём к Гребнёву, мол, на, держи и радуйся!

Гребнёвы с облегчением засмеялись, а их Вадька заревел.

2

Пашка Калмыков – крепкий, лобастый подросток с широко расставленными карими глазами – в свои тринадцать лет охотником был уже признанным и известным. «Это Пашка-то Калмыков? Ивана-наборщика сын?.. Ну, этот охотник серьёзный», – говорили про него все немногочисленные охотники городка.

Пашка бил утку с подхода, скрадом, стоя на перелётах: встречу, в угон, боковых – крякву, чернеть, крохалей, шилохвость, свиязь, пулевых чирков. Раз гуся влёт свалил, и не «гусятником», а четвёртым номером дробы. Потому ударил с умом – в угон, под перо. Словом, пустым с охоты Пашка не приходил

Пашкиного отца демобилизовали после японской, осенью сорок пятого. Было тогда Пашке десять лет, но в ту же осень он начал таскаться за отцом на охоту. Без ружья сначала, однако уже через год, когда отец, назанимав кругом денег, купил-таки долгожданный «зауэр», Пашка получил от него не менее долгожданную «тулку»-одностволку. Старую, с чинным ложем, но крепкого, кучного бою.

Охота в окрестностях городка в первые послевоенные годы была богатая. Птицы было много: и пролётной, и гнездующей. С востока, раздвинув невысокие горы, могучий Иртыш вынес перед городком и дальше богатейшую пой-

му. Стоило выйти на окраину, переплыть паромом Иртыш, небольшую деревеньку миновать – и охотиться в полное свое удовольствие! Плавные протоки в зелёных коридорах тальника и раkitника; задумчивые старицы, по рыжей воде заросшие хвощом и кувшинками; затаившиеся в камышовых крепях маленькие озерца и серебрящаяся рябь озер побольше... И всё это полно утки.

Охотник Пашка был упорный, азартный, неутомимый. Бывало, полдня уж топчут с отцом злой августовский зной, всё пройдут: все протоки, все озерки облазят, бочажинки сапогами прогребут – у отца пара-тройка уток висит, за Пашкой крякаш на удавке везётся. Отец остановится и скажет, тяжело хватая воздух: «Хватит, Пашка! Утка в крепях. Пушкой не поднять на крыло. Хватит! Домой!» Но глаза Пашки – глаза одержимого: из всех слов, сказанных отцом, в голове отпечталось только одно – «в крепях»... В камышовых крепях – утка. Ага! – Пашка в крепях. Отец, чертыхаясь, за ним. Пашку не видать, только высокие камыши змеями мечутся, будто «легаш» понизу добрый идёт. Вдруг пара крякашей испуганно из камышей вытряхивается. Пашка – будыхх! – срезал одного. Отец – пах! пах! – мимо. «Мазила!» – скажет Пашка, уцепит на удавку сбитого крякаша – и дальше. «Пашка, стой, погоди!» Какой там! Опять камыши змеями.

В конце концов, отец не выдерживал этого высунь-язык лазания и где-нибудь, ухнув следом за Пашкой в очередные камышовые заросли, вываливался к озерку, как подкошен-

ный падал на прибрежную осоку и, поводя накалёнными глазами, хрипел: «Всё, Пашка! Шабаш! Домой!» На что маленький Пашка, с длиннющей одностволкой качаясь рядом, выталкивал коротко: «Сейчас... заскочим на Лопатино... тогда уж домой... Вставай!» И тащил отца за собой, и они «заскакивали» на Лопатино.

Вместе с вечерними сумерками в створе калитки, как два привидения, возникали охотники. Они везлись через двор, растопыренно переставлялись по ступенькам крыльца, вваливались в дом. Тесная кухонька наполнялась запахами солнца, влажных камышей, утиного пера и зноем опаленных лиц. Пашка, не раздеваясь и не ужиная, валился на свой топчан.

– А ружьё чистить кто? Эй, охотник! – тормозил его отец.

Мать зло обрывала отца и уже стаскивала с Пашки сапоги.

– Совсем заездил мальчишку со своей охотой!

– Кто заездил? Я?! – И отец как-то горько смеялся. Потом спрашивал про воду и, натыкаясь на ворчки жены, шёл к керосинке с парящей кастрюлей на ней. Наливал в таз воду, наворачивал-наращивал звеньями шомпол и бурлил стволами в тазу – чистил их, промывал горячей водой. Разутые белые натруженные ноги отца ветвисто набухали венами. Потом отец с улыбкой смотрел на спящего Пашку, и казалось ему, крикни сейчас: «Пашка, крякаши!» – вскочит охотник и пошёл по камышам! Отец махал рукой и смеялся. «Эко его!» – дёргая перо, поглядывала на него мать. А отец уже

задумался. Пашкин ствол отдыхает в тазу. Глаза отца будто журчат. Внезапно он густо всхрапывает. «И этот ухайдакался!» – отмечала мать.

Но наступала суббота.

Минут десять шестого с работы прилетал отец. Сразу за стол – хлебал лапшу с утятиной. Пашка уже одет, обут, сидит, как на вокзале – обложен вещмешками, обставлен ружьями.

Отец очень вежливо интересовался у матери, отпущено ли чего? В смысле продуктов. Картошечки там, огурчиков. Охота, она, конечно, сама себя кормит, но всё ж таки...

Переставляемые пустые кастрюли начинали гроыхать в углу кухни с нарастающей силой.

– А чего это ты?.. – с деланным удивлением смотрел на мать отец.

– Хлебай, хлебай знай! Не подавись! А то вон охотничек-то твой, – мать кивала на Пашку, – час уже сидит, ровно кол заглотил.

Пашка смотрел на мать, но сдерживал себя. Внешне он спокоен, но в душе буря: «Да ешь ты скорей! – мысленно молил он отца. – Положила, всё положила! И картошки, и огурцов. Чего с ней разговаривать? Без толку! На вечернюю зорьку опаздываем!»

А отец ещё ложку откладывал и вроде как обижался:

– Ну уж это ты, Маня, зря-я. Мы к тебе по-хорошему, а ты к нам...

Да господи, скорей бы с глаз! Кастрюли уже не разбирали: кто прав, кто виноват – лупцевали друг дружку. Мане, как всякой порядочной жене, полагалось ревновать своего мужа Ваню. Ну уж если не к кому-нибудь, то хотя бы к чему-нибудь, на худой конец! Так ведь он, забубённая головушка, и Пашке мозги сдвинул. Вот в чём дело! И Маня, полыхая справедливым гневом, кричала:

– Мальчишка всю одежду изодрал! Кирзачи весной взяли, а на что похожи? В чём в школу пойдёт? А они, два легаша, шастают по кустам да болотам! Одни ремки уже на мальчишке, дранье, а они шастают! Сентябрь на носу – двойки посыплутся, мешок готовь, а они шастают, они-и шастают!

Бодро вздрагивая от криков, отец как бы резонным козырем бил – что уж лучше в рамках, зато сытым! Время-то ещё какое... А насчет школы... Так подтянется Пашка. Пашка, а? Подтянешься?

– Подтяну-усь, – тоскливо тянул Пашка, глядя на потолок.

– Вот! – показывал на него отец, как на законченного отличника.

Мать опадала на табуретку, беспомощно кидала руки книзу.

– Как вывернулись-то! Как ловко! И не стыдно?.. Пользуются этим... как его?.. продовольственным положением семьи... и шастают... – не совсем уверенно закончила.

Охотники вытаращились на неё. Придя в себя, отец сказал:

– Эко тебя куда! «Продовольственное положение»... Ты б в редакции-то не газетки почитывала, а веничком, веничком побольше махала.

– А ты сидишь в своей типографии и не видишь ни черта! «Газеты»! Ты вон в магазин сходи. На базар. Вот тебе и газета будет. Живая!

– Так для того и ходим на охоту! – смеялся отец. – Для продовольственного положения. Верно, Пашка?

– Это уж точно – для него, – подтверждал Пашка. – Гы-гы...

– А ну вас!

А на третий год, когда отец бывал занят на работе, Пашка и один уже ходил на охоту. Вязались, правда, сперва за ним его друзья – Генка Махра и Валька Ляма, но получалась не охота – одно баловство. Пашка протащил дружков раза два по крепям – ни Махра, ни Ляма на охоту больше не просились.

3

После осмотра и положительной, высокой оценки ружья Гребнёва Пашку усадили за стол – и ну угощать! И пироги тебе с капустой, и с картошкой, с мясом даже один, и чай из самовара с сахаром вприкуску! «Однако живут», – подумал Пашка. Он сначала поломался для порядку, потом навалился. Да-а, из такой муки пирогов Пашка не едал никогда. «На хлебозаводе, поди, дают Гребнёву такую муку», – думал Пашка, уминая пирог с капустой.

Разговор поначалу шёл об охоте: о сроках её, об охотсоюзе, о членских взносах, про добычливые места, которые знал Пашка, про припасы и снаряжение, какое надобно срочно купить Гребнёву к ружью, потом как-то незаметно перескочили на Пашкиных родителей.

Гребнёв, узнав, что отец Пашки в типографии работает простым наборщиком, очень удивился:

– Так партийный ведь он!.. К-как же тогда?..

– А нравится ему это дело. – Пашка рубал уже пирог с мясом. Отпил из стакана чаю.

С другого боку к Пашке подступала тётя Лиза:

– А этот, другой... ну к вам ходит который – дружок его...

– А, дядя Гоша?.. Мировой мужик. Не охотник, правда...

– А он, он где работает?

– Над отцом – в редакции. Он корректор.

– Кто-кто? – наморщила лобик тётя Лиза.

– Корректор. Газеты читает. Через него они проходят.

Гребнёвы переглянулись.

– А он партийный?

– Кто? – продолжал есть пирог Пашка.

– Ну читает, читает который?..

– А, дядя Гоша? Да-а, он раньше отца ещё. Отец с двадцатого, а дядя Гоша аж с четырнадцатого года в партии. Он старше отца, вот и раньше. Он и в тюрьме сидел.

– К-как в тюрьме?! – испугался Гребнёв.

Пашка объяснил, что до революции ещё. На каторге. Потом освободили. Мировой мужик дядя Гоша!

Гребнёвы застыли. Пашка ел.

Вдруг тонюсенько засмеялся Гребнёв. С застывшими, как у сумасшедшего, глазами.

– П-партийный, на каторге был, а сын-то его, хи-хи-хи...

Вчера иду... хи-хи-хи...

Мгновенно, локтем под бок оборвала его жена и пошла подсовывать нахмурившемуся Пашке пироги, приторно масля их словами, что вот теперь-то и будут они вместе на охоту ходить, и как славно-то это будет, как хорошо! Правда, Паша?

– Так сказал же я дяде Гребнёву...

Гребнев торчал семафором и будто отсутствовал.

– Его Васей зовут, дядей Васей, – сказала про него жена, как про глухонемого. Гребнёв, выходя из оцепенения, под-

твердил:

– Вася я. Дядя В-вася, – и, оживившись, хлопнул Пашку по плечу: – Походим н-на охоту, а? Пашка? – и засмеялся.

– Ещё как походим, дядя Вася! – засмеялся Пашка в ответ.

Тётя Лиза схватила Пашкин стакан и с облечением пустила в него струю из самовара.

А через два дня Пашка уже учил Гребнёва заряжать патроны: «...э-э! Постой! Это откуда папироска в зубах? Да ещё дымит?.. Вы в уме?.. Порох, понимаете, по-рох! У вас под носом! Тётя Лиза, заберите у него все папироски! И спички, и спички! Это же первейшая заповедь ружейного охотника: сел снаряжать припас – курить ни в жизнь! А вы?..»

Гребнёв виновато покашливал.

Почти каждый вечер после школы Пашка стал торчать у Гребнёвых: то ружьё с дядей Васей разбирает, смазывает, снова собирает, то заряжают вместе патроны – папковые прогоняют через калибровку, латунные заливают стеарином, то Пашка читает охотничью литературу, или просто сидят у самовара, ведут неторопливую мужскую беседу. Другьями стали Пашка и дядя Вася – не разлей вода!

Теперь каждый приход Пашки к Гребнёвым представлял собой небольшое событие: поспешно сдёргивала со стульев Вадькины ползунки тётя Лиза, будто это бог весть что и может оскорбить Пашино зрение; вскакивала и скрывалась в кухне старуха, дядя Вася улыбался и дёргал себя за ухо; ну а сам гость переминался с ноги на ногу и как бы всем видом своим говорил: ну уж это вы зря-я. Это просто ни к чему. Зачем хлопоты?.. – но ему было приятно, что его так встречают.

Вот тебе и Гребнёв, вот тебе и Склянки! Мировой мужик оказался дядя Вася! И ведь всегда так: не знаешь близко человека – и чёрт-те что о нём думаешь и говоришь. А познакомишься поближе – и пожалуйста – не перестаешь удивляться: простой, весёлый, насчёт охоты бестолковый, правда, но зато поговорить – о чём угодно, рассказать – чего хочешь, да и не жадный: вон пироги выставляет каждый раз, опять же

чай с сахаром вприкуску. Мировой мужик!

Были, правда, у дяди Васи некоторые... ну странности, что ли. Но это – на чей взгляд. Вдруг ни с того ни с сего прямо посреди разговора застопорится как-то, глаза как жидкое олово сделаются, – и сидит, не шелохнётся. И минуты две так. Пашка рот раскроет. А тётя Лиза смотрит на Пашку и будто говорит ему: вот всегда думает Вася так – как болеет, – и чего делать с мужиком, не знаю... Как на врача, на Пашку смотрит. По-щенячьи. Дескать, помоги, Паша...

А бывало, и оба смотрели на Пашку щенками, будто ждали чего-то от него, а чего, Пашка никак не мог понять и чувствовал себя в такие минуты дураком – краснел, отводил глаза, дыхание замирало у него в груди. Точно он чего-то когда-то наобещал им, и не то что даже не выполнил обещанное, а вообще забыл, что именно обещал, а люди вот стесняются напомнить ему об этом и терпеливо ждут, когда он сам вспомнит. И совестно было чего-то Пашке, а чего – он и сам не знал. Однако так смотрели они на него редко. Обычно дядя Вася застывал, а смотрела тётя Лиза. Одна. А это ещё терпимо. Не то что, когда оба. Враз.

Из ступора своего выходил дядя Вася всегда одинаково – как оживет, как проснётся. И хлопнет Пашку по плечу: «Походим н-на охоту, Пашка?» – и рассмеётся. «Ещё как походим, дядя Вася!» – испуганно смеялся в ответ Пашка.

«Не-ет, странный Гребнёв-Склянки, странный! – думал в такие минуты Пашка. – Но хотя взять ту же Полину Рома-

новну, Юрину мачеху, или отца его – тоже с приветом. Да не с малым. Вообще взрослые... бывает у них», – тут же успокаивал он себя.

И ещё одного никак не мог понять Пашка в дяде Васе – почему тот своего полуторагодовалого сына всегда называл Вадимом?.. Не Вадиком, не Вадькой, а только Вадимом? Забегают глаза, птички на ресницах затрепещут, и скажет: «Ввадим!» Мрачная старуха и та, как в хорошем настроении, так и щебечет тоненько: «Ведим! Ведим!» А? Почему они так его?.. Видать, для очень гордой жизни готовили. Не иначе.

А Вадим увидит Пашку – как на стену наткнётся. И давай «обходить». «Вадик! Вадик!» – заиграет пальцами, поманит его Пашка. Какой там! Вадим поспешно карапузит под стол, присядет там будто на горшок и выглядывает. А Пашку дети малые любили, всегда шли к нему на руки, и он тетёшкал их. «Пугливый больно Вадим», – думал Пашка. Однако ревел Вадим храбро – с открытыми глазами и басом. Гордо ревел Вадим!

Тётя Лиза не стеснялась Пашки и при нём кормила грудью сыночка. Достанет откуда-то из-под мышки длинную, «козью» грудь, орущий Вадим вцепится – и затих. Час говорят Пашка и дядя Вася, другой, тётя Лиза, бедная, дремлет от усталости, со стула вот-вот упадёт, а Вадим накачивается, Вадим сосёт. Выдернет, наконец, тётя Лиза грудь – «А-а!» – сразу густо вдаряет Вадим. Тётя Лиза хватает со стола сос-

ку, облизнула, бац! – заткнула Вадима. Вадим захлопает, захлопает глазами, задёргает зверски соску, тут же раскрывает коварнейший обман – и стреляет соской в потолок: «Ы-а-а-а!» – ещё пуще разорвётся. «Д-на, д-на!» – сунет ему грудь тётя Лиза. Вадим хват! – и ну тянуть, ну чмокать, и глазки забегали сторожко: никому не дам! Не подходи!

Сама тётя Лиза казалась Пашке очень уж нервной. И даже не нервной, а какой-то... бестолково возбуждённой, что ли. Всё время носится. То из комнаты в кухню, то обратно, в сени бежит, летит в сарай, на огород зачем-то, потом в уборную, опять в дом, в кухню, снова в сени, в кладовку... Уследить за ней было трудно. Как самолёт летала тётя Лиза. Но всё как-то не по уму. Всегда у нее убегает, подгорает, дымит; всё она что-то разыскивает: сунула куда-то горшок, а куда – чёрт его знает, а Вадим вон кряхтит уже! И бежать, и полетела!

Первое время гость, да и сам хозяин, сидя за столом очень прямо, настороженно-удивлённо вертели головами, пытаюсь уследить за летающей хозяйкой. Хотя, казалось, дяде Васе-то чему тут удивляться? Вроде б и попривыкнуть должен давно. Но такова уж сила свежего Пашкиного глаза была, что невольно и дядя Вася взглянул на свою тётю Лизу этим Пашкиным глазом и, прямо надо сказать, сильно удивился: и чего, спрашивается, бегаешь? Мешает только обстоятельному мужскому разговору!

На голове тётя Лиза носила странные трубчато-дырча-

тые железки беловатого цвета. Они какими-то организованными, безжалостными паразитами втягивали её шелковисто-жёлтые волосы внутрь себя. «Как лебёдки тянут!» – думал Пашка. А Валька Ляма, как увидел тётю Лизу во дворе в этих железках, сразу сказал: «Бар-ранина!» Так и сказал. «Натуральная бар-ранина!» Ну да Ляма скажет, у него не заржавеет. Насчет бар-ранины – это ещё поспорить, а вот что лебёдки – это уж точно! – думал Пашка.

– Нравится? – спросила у него тётя Лиза, когда он первый раз увидел на ней эти железки и разинул рот. – Вон, Васенька ублажил. Ни у кого в улице нет, только у меня – вот! Из Алма-Аты привёз, как машину перегоняли. Полную коробку. И коробка – вот.

Коробку Пашка подхватил, как бомбу. Ну всё верно – коробка. Картонная. Тяжёлая. Всё законно. Вот и надпись: «Дамские бигуди...» Или «бигуди»?

– Бигуди, бигуди! Причёска, причёска такая. Фасон. Вот же у меня – бигуди! – Тётя Лиза озорно потрянула головой – «бигуди» затрещали.

Бигуди... Ишь ты! Словно для бега. Чтоб быстрее, значит. Для тети Лизы в самый раз. Раньше всё бумажки были, завязки там, веревки всякие, а теперь металл. Ну как же, инженера – думают. Пашка полез внутрь коробки. Так. Инструкция. Вот она – тётенька на фото: прицепляет бигуди себе на голову. Видать, трудно прицеплять их – вон как тётеньку всю перекосило. Вот опять она. Прицепила бигуди и стоит-улы-

бается: делайте как я, и вам будет очень хорошо, как бы говорит... Ну что ж, бывает. Вон тоже, бывало, наденешь сапоги, отцовы, болотные – и сразу человек. Бывает, как же...

А тётя Лиза всё мордочкой стреляла. Как белка. То на счастливую тётку, то на Пашку, то на тётку, то на Пашку. ну как? как? здорово? здорово? – и на Пашкино невнятно промямленное, неуверенное удовлетворенно выхватывала коробку: то-то!

И это красиво? А? Дядя Вася?.. Дядя Вася философски развёл руками: женщины, неразгаданная тайна пока что.

И когда бы ни пришёл к Гребнёвым Пашка, на голове у тёти Лизы сидели эти самые «бигуди». А когда она начинала по привычке суматошно бегать, пролетая то со стреляющей паром кастрюлей, то с придушенным детским горшком, то с голозадым Вадимом, который летел сбоку, руля спущенными штанишками – эти чертовы «бигуди» накалённо трещали, щёлкали, словно возмущались таким беспокойным характером тети Лизы.

– К тебе Юра приходил, – сказала Пашке мать, когда тот, как обычно, поздним вечером заявился домой от Гребнёвых.

– Приказ, что ли? – Пашка вытаскивал из сумки тетрадки и учебники и раскладывал их на столе. – Чего ему?

Мать укоризненно покачала головой.

– Эх ты... «Приказ»... Лучшего друга своего забыл с этим... Гребнёвым! – Мать гладила бельё. Угли были плохо пережжёны, и тяжёлый, как ледокол, утюг, потрескивая, плавал в сухом едком чаду. Мать отворачивала в сторону лицо, глаза её слезились. – Парнишка пришёл, весь вечер прождал... А этот! – зло глянула она на сына. – Забыл? О чём с ним договаривались? – и, видя, что Пашка растерянно остолбенел, не вспомнив, подвела совсем уж злую черту: – Забыл! Зато пироги жрать не забываешь у этих... у этих...

Пашка вспомнил. Покраснел. Но скулёжно вскрикнул:

– Да какие пироги! Один раз сказал, теперь...

– Утюг вытряхни, лодырь чёртов! Расселся тут!.. Тетрадки ещё разложил как путёвый. Двоечник несчастный!

Пашка схватил утюг, заорал:

– Да куда не денется Юра твой! – Кинулся во двор. На душе стало муторно, нехорошо.

До прошлого года Юра жил в соседнем одноэтажном де-

ревянном доме. И двор даже общий был у них с Пашкой. Только в Пашкином коммунальном доме людей, как сельдей, и все хозяева, все квартиросъемщики, с вытекающими из этого правами и последствиями. В соседнем же – только четыре квартиры, и каждая со своим крыльцом и входом. Вот в одну из них и въехали позапрошлой осенью Колобовы.

Юрин отец, Сергей Илларионович, работал в редакции городской газеты – там же, где и отец Пашки. Только Пашкин отец находился в полуподвале – в типографии, а Сергей Илларионович на втором этаже – в редакции. Он был на должности редактора сельхозотдела.

В первый же по приезду день Юра подошёл к Пашке и вежливо спросил:

– Мальчик, можно я посмотрю, как ты кормишь голубей?

– Ххы! – смутился Пашка. – Смотри, жалко, что ли... – и независимо цырганул слюной сквозь зубы.

Ребята постояли напряженно рядом, глядя на бегающих у крыльца голубей, потом Юра сказал:

– Спасибо, мальчик! – и пошёл к своему дому.

Пашка раззявился вслед: ххы! Вот это экземпляр! «Мальчик»... Ххы! И откуда взялся?

На другой день Юра сидел на ступеньках своего крыльца и, подперев голову худыми руками, с восхищением смотрел на Пашку, размахивающего на крыше длинным шестом с пугающими тряпками и верёвками на конце. Пашка дико, по-разбойничьи свистел. Голубей было много, они радостно

трепыхались над крышей. А Пашка со своим шестом будто раскручивал, разматывал их кругами вверх. Голуби набирали высоту, и ребята заворожённо следили за их трепетными, радостными кругами. Казалось, что это мальчишечьи души, выпущенные на волю, трепещут пестрыми ресничками в густо-синем прохладном небе. И всё выше, выше – к осеннему задумчивому солнцу, к ласково-грустной улыбке его.

Когда Пашка спустился по лестнице с крыши, а вся стая привычно голодно бегала у крыльца, Юра, снова спросив разрешения, встал рядом с ним.

– Да что ты все: мальчик, мальчик!.. Паха я! – с досадой представился Пашка.

– А меня Юрой зовут, – быстро взглянул Юра на насупленного Пашку, но всё же вежливо добавил: – Очень приятно было познакомиться.

Через неделю Юрин отец, прервав восторженный рассказ сына о Пашке и его голубях, сказал, задумчиво помешивая чай ложечкой:

– Приведи-ка этого голубятника – посмотрю я, что это за Паша...

И на другой день Пашка пил у Колобовых чай с вишнёвым вареньем.

Сергей Илларионович, по всему виду, корчил из себя интеллигента: дома носил двубортную тужурку, подпоясанную плетеным шнуром с кистями, чай пил только с подстаканником и жене говорил «дорогая». Но Пашку разве возъ-

мешь на понт? Пашку разве околпачишь? Он-то сразу раскусил этого «интеллигента». Вон на руках-то чего...

А руки у Сергея Илларионовича и впрямь были хороши: на одной возле большого пальца якорь повис, канатами задавленный; на тыльняке в полкаравая солнце лучами синюшными стреляет; а на другой руке вообще целый погост крестами заваливается. Будто по весне. И вороны тощие над ним летают, как положено. И тут же на костяшках пальцев буквы: С Е Р Я... Что за Серя такой? Серёжа, что ли? Ну да, понятно – пальцев не хватило, потому и Серя. Вот тебе и Серя-интеллигент! Только не хватает «татуировочки» – что под ногтями бывает. Ногти чисто содержит. А жаль: неполная картина получается.

И всё выпрашивает у Пашки, всё выведывает: что он и как он, да кто у него родители, да в школе как учится, и товарищи кто, и о каждом чтоб с подробностями, чтоб до косточек, до потрохов. Да Пашку на мякине не проведёшь, Пашка знает, куда клонит этот интеллигент. Ясное дело – за Юру беспокоится. Сам-то, поди, знает, как это бывает. С такой татуировочкой-то? Ого-го! Огни и воды да медные трубы в детстве и юности прошёл! Наверняка! А сам всё как в театре: «Благодарю тебя, дорогая...», «сахару вполне достаточно, дорогая...» Э-э, интеллигент... Кого надуть-то захотел – это Паху-то?

– Паша, отчего ты не пьёшь чай? – спросила Юрина мачеха.

– Я пью, пью! Спасибо! – Пашка поспешно хлебнул чаю.

Полина Романовна... Тоже цаца! Вон как мизинец оттопырила. По-интеллигентному чай пьёт. Туда же!.. А палец-то как сосиска, да ещё колечком перетянут с узелком бирюзовым. Однако жирна Полина Романовна, ох жирна! И такая вот... тётя говорит Юре по утрам: «Юра, вынеси, пожалуйста, мой горшок!» По-интеллигентному как бы говорит, культурно... А?! И Юра, дурак, прёт. А горшок-то весь цветочками разрисованный... Тьфу! Краха, кха, кха! – Пашка подавился.

Полина Романовна похлопала его по спине и поинтересовалась:

– Ты что, Паша, чаем подавился?

– Ничего, ничего, не беспокойтесь!.. Кхэ!.. – прокашлялся Пашка. Спрашивает ещё. Будто не видит. Человеку чай даже в глотку нейдет! Кха!

Как выяснил Пашка, все вещи и обстановка в квартире Колобовых были немецкими. То есть все до единой из Германии. Начиная от кручёной ложечки в руке Сергея Илларионовича и кончая раскорячившимся пианино у стены. Шкаф с зеркалом, диван, столик гнутый с патефоном на нём, большой круглый стол с длинной махровой скатертью, за которым сидели Пашка, Юра и остальные, красивый абажур на проводе, тут же зачем-то развесилась гроздьями недействующая люстра, ковры на стенах и полу, тяжёлые шторы по окнам, две диковинные кровати, выглядывающие из спальни в

шёлковых стёганных одеялах розового цвета, голая тётка, развалившаяся в золочёной раме на стене... ну всё, всё немецкое!.. Горшок Полины Романовны с цветочками – и тот, гад, фашистский! «Вот нахапал так нахапал!» – дивился Пашка, отпивая чай.

– Юра, покажи Паше готическую картинку, которую я тебе подарил, – самодовольно сказал Сергей Илларионович и, пока Юра бегал в соседнюю комнату за картинкой, добавил чётко, как чистокровный немец: – Это очень смешная готическая картинка, Паша!

На «готической» был изображён маленький, как игрушечный, немецкий городок с домиками в покатой черепице, с островерхими кирхами и небывало синим небом над ними. Над городком по воздуху пролетал воздушный шар. В бельевой корзине шара испуганно метались астронавты. По всему видать, они хотели сделать в этом городке небольшую остановку для отдыха и подкрепления, кинули вниз на верёвке якорь, но зацепились за уборную. Уборную сдёрнуло с земли, подняло, и она летит над городком вместе с шаром – дверь болтается на одной петле. А внутри удивлённо раскинулся очень усатый дядька со спущенными штанами, и изо рта у него облачком выкурились какие-то немецкие слова.

– А чего он говорит? – ошарашенно спросил Пашка.

Сергей Илларионович, как зануда учитель в классе, начал монотонно переводить: «Я маленький... я лечу... караул!.. ура!.. помогите!.. я лечу...» – И опять отчеканил:

– Это очень смешная картинка, Паша!

«Вот это готический! – вытаращился на Колобова Пашка и косточки три вишнёвые проглотил, которые до этого катал во рту и не знал куда деть. – Ну и ну-у! Вот достался Юре папаша! Монокль бы ещё вставить, гаду, в глаз – и фриц натуральный. Не отыскал, видать, в Германии монокля-то – по-выбили их там наши фрицам. И потому очки носит. А тоже: сам конопатый – и очки... Как корове седло! Вот чего барахло-то немецкое сделало с человеком. Вон, вон, бумажки какие-то выкладывает на стол. Из аккуратной пачки. Мягкие. Как промокашки. На кой чёрт только они? А, губы вытирает. Понятно. Гигиена. Культурный, гад!»

Больше домой к Колобовым Пашка не ходил. Но с Юрой подружился. И крепко. Видно, Пашка чем-то всё-таки понравился Сергею Илларионовичу, и тот разрешил Юре эту дружбу. Однако когда Сергей Илларионович шёл и видел Юру во дворе или на улице в окружении «дружков», то, проходя мимо, приказывал коротко: «Юра, домой!» И Юра плёлся за ним.

Да и у Пашки сидит Юра вечером – только на часы и поглядывает. «Читай, Юра, читай, – скажет Пашка. – Далеко ещё до восьми...» – «Восемь часов...» – говорит Юра старинным часам на стене, как заклиная их. Потом поворачивается к книге. В восемь часов, и ни минутой позже, он должен быть дома. Но ведь как всегда бывает: увлечёшься чем-нибудь, вот как сейчас: книга интересная – «Айвенго», – и

забудешь про всё на свете, и про папу в том числе. А на стене вдруг зашипит, затем закричит и – БАМ-М! – как по голове, – первый удар часов.

Юра вскакивает из-за стола, поспешно заворачивает книгу в газету, прощается и бежит. А Пашка, мать и отец смотрят на часы и считают удары. И видится им в качании маятника, как выскакивает сейчас Юра во двор, бежит, опрыгивая чёрные осенние лужи, как он с топотом забегает на крыльцо, в сени, запирает дверь на четыре засова, лихорадочно нашаривая их в темноте, гремит, опрокидывает пустое ведро и влетает в комнату, спертую затхлым барахлом. Сергей Илларионович встает из-за стола, достает из кармана немецкой тужурки немецкие карманные часы, откидывается крышка часов и слышится противно-мелодичный последний удар – восемь. Ровно. Приказ выполнен. Сергей Илларионович удовлетворенно щёлкает крышкой и опускает немецкие часы в немецкую тужурку. В карман.

Обрывался в тишину последний удар часов и в комнате Калмыковых. Все трое молчали. Наконец мать тянула, мечтательно подпершись кулачком:

– Да-а... вот дисциплинированный какой. Не то что наш...

– Дисциплинированный! – зло шуршала раскрытая газета отца. – Да этому папаше ноги повыдергать! Ванька, не помнящий родства. Автомат чертов. И сына делает таким, мерзавец!

6

Поначалу дружба между ребятами складывалась как-то не так, с перекосами. С Пашкиной стороны, во всяком случае. Дичился Пашка Юры. Дичился его вежливости, стеснительности. Дичился и вёл себя порой подло.

Пашка привык к простым отношениям с ребятами двора: чуть что не так – в драку. Подрались, а назавтра опять вместе. И все дела. А с Юрой этого и представить даже было нельзя. И смотрит на тебя... как собака одинокая, да и вообще... матюкнуться – и то язык вязнет во рту, не то чтобы ещё чего. Тяжело, неудобно Пашке с Юрой сперва было.

Когда они бывали одни, Пашка всегда звал Юру – Юрой. Но стоило появиться меж них ещё кому – Ляме там, Генке Махре, или вообще когда много ребят вокруг, – Пашка сразу начинал звать Юру «Приказом», кличкой, которую приляпал Юре дошлый Ляма на второй же день, как увидел его с отцом во дворе.

Ну ладно, сказал бы Пашка просто: «Приказ» – и всё. Так нет! Всё с какими-то подначками, с подковырками обидными. «Приказ, чё, опять папаша не пускает? Гы-гы...» А Юра смотрит на него своими печальными глазами: почему ты так, Паша? Ведь ты не такой. Зачем?

А Пашка ёрничает, Пашка изгаляется над Юрой перед охламонами двора. Он, дикарина, стеснялся этой человече-

ской дружбы и продавал её ржущим мальчишкам двора со всеми потрохами. Потом, дома, один, он мычать будет, зубы сцепив, от своей подлости, в глаза не сможет смотреть Юре несколько дней, но сейчас он герой, он уличный, ему всё ни-почем! Не то что этому... папенькиному сыночку. «Приказ, а если папаша с нами увидит – чё тогда? Гы-гы...»

Юра же, несмотря на такие вот выходки Пашки, полюбил его сразу и всей душой. И звал его только Пашей. И никаким там не Пахой. И это тоже бесило Пашку. «Зови меня Пахой!» – быстро говорил он Юре, как только видел приближающихся к ним ребят. «Зачем?» – «Ну зови – и всё!» – с досадой шипел Пашка. «Ладно, Паша», – шептал Юра и глядел на подкатывающуюся ватагу, внутренне подбираясь как перед боем.

Но «Паша» – был, «Пашка» один раз промелькнул как-то неуверенно, а вот «Пахи» – Пашка так и не дождался от Юры. «Безнадёжен!» – махнул он рукой.

Юра и сам понимал, что ему ох ещё сколько тянуться до Паши, и пытался сначала даже освоить некоторые, хотя бы первые ступени уличный школы, но Паша сам почему-то мешал ему в этом. Если Ляма, например, совал дымящийся бычок к губам Юры, приговаривая: «Дёрни, дёрни, Приказ! Папаша не увидит!» – Паша почему-то говорил поспешно: «Не надо, не надо ему!» – и, видя законное недоумение Лямы, зачем-то врал про Юру: «У него... у него лёгкие больные!» Все с испугом смотрели на Юру. Юра сам удивлялся и то-

ропливо объяснял, что Паша ошибся, что он, Юра, абсолютно здоров и готов попробовать... дёрнуть. Но Паша опять поспешно говорил: «Не надо, не надо, потом дёрнешь! А то заболеешь ещё». И не удерживался-таки, подковыривал: «Чё тогда папаша скажет? Гы-гы...» Все смеялись, а Юра думал. Отчего Паша сказал, что лёгкие больные? Почему он так?.. А Пашка и сам не знал, «почему он так», и отводил глаза.

Но мало-помалу Пашка привык к Юре, перестал его дичиться, стал относиться к нему просто и серьёзно. Пашка чувствовал в Юре какую-то обезоруживающую бесхитрость, искренность, правду. Всего этого явно не хватало самому Пашке да и остальным охламонам двора и улицы. Никогда не встречал Пашка таких ребят, как Юра.

Уличные орлы подмётки на лету рвали друг у друга. Как бы объегорить ближнего да самому в дураках не остаться – вот и задачка вся на каждый день. А Юра – вот он, весь как на ладони. Надуть его?.. так не получается как-то, да и совестно почему-то.

Увидел Ляма перочинный ножичек у Юры, и сразу: «Махнёмся, Приказ? Я тебе перо-рондо, ты мне ножичек? – и видя смущение Юры, которое принимает за раздумье и нерешительность, Ляма еще подкидывает наживочки: – И перо-лягушку впридачу, а? Приказ? Целых два пера за один паршивый ножичек, а?» – «Да нет, Валя, – как мог, избегал Юра напряжённых глаз плута, – мне не нужны перья. Есть они у меня. А если тебе понравился ножичек... то возьми. Он мне

пока не нужен. Потом отдашь как-нибудь».

И так со всеми ребятами: меняться не меняется, а отдает – и всё. Ножичек? На! Марки? Пожалуйста! Кадрики? Нател! Только потом как-нибудь верните. И всё.

Нет, это если уж взял, а потом возвращать?.. У-у! Это же полное порушение всей жизни получится! Не-ет, подальше от этого чокнутого. А Паха-то, туда же: материться перестал, книжки вместе читают, потом гуляют и разговаривают вежливо – умора! – подсмеивались поначалу над дружбой Пашки и Юры орлы. Но Пашка кулаком поставил пару фонарей на пару физиономий – всё прекратилось.

Но ещё больше сдружил ребят каток.

До приезда Юры Пашка и ребята двора на каток почти не ходили. Тому было несколько причин. Ну, во-первых, каток находился далеко – на Отрываловке, считай, за городом. Во-вторых, кто ходит на каток? На каток ходят, в основном, взрослые парни и девчата. Как на танцы. Чтоб познакомиться, значит. И делать потом разные фигли-мигли. Опять же, приходишь на каток, а у тебя на одном валенке «дутьш» подбут, а на другом – «норвежка» длинная. Чего ж тут хорошего? А у Лямы, вон, и вовсе один «снегурок» кренделем изпод валенка вывернулся. Другой валенок вообще пустой. Да и не точено это всё. У всех катающихся конёчки на ботиночках, они летят мимо тебя как на крыльях, а ты потелепаешься на своих «конягах» где-нибудь в сторонке, да и уйдёшь от стыда подальше. Да и вообще – больно надо! Пусть там

эти маменькины сынки да папенькины дочери воображают, кренделя выписывают! Уважающий себя уличный орел лучше разбежится как следует, бац! – крючком под задний борт грузовика, – и помчался по дороге. Только ветер засвистел в голове!

Всеми признанным специалистом по этой части был Генка Махра. Посмотришь на него – ни за что не скажешь, что это так: длинный, кишкастый, вялый. Но надевает человек отцовские краги по локоть, берёт в них добрый крючок – и откуда что берётся: если Махра стоит у дороги первым номером – «на вырубке» – считай, что ты уже летишь с ним по дороге, уцепленный за грузовик.

За три квартала от Пашкиного двора горе-строители года два уже клали двухэтажный кирпичный дом. Перед домом, поперёк дороги, по засыпанной, но просевшей траншее водопровода, получилась глубокая выбоина. Грузовики всегда притормаживали перед ней. Здесь-то и роилась мальчишня, здесь и цеплялась она за машины.

Но Махра разве станет у выбоины? Что он, малолеток с полуметровым крючком? У Махры крюк метра в три длиной. Проволока чуть не в палец. Загнутый конец крюка – как игла. Махра разбежался и бил крюком в боковой борт на полном ходу грузовика. Растягивая как кишку, Махру выдергивало с обочины дороги прямо к задним колесам грузовика, но Махра удержится на ногах, на то он и Махра – первый «цепляла» всей улицы! Но самое главное: он и «вы-

ручку» даст. Орлы-то понастроились вдоль всего квартала, метров через двадцать друг от друга распределились. Стоят вдоль обочины прямо в снегу, чтоб коньков не было видно, дескать, вот, просто вышли подышать свежим воздухом и полюбоваться на окружающий городской пейзаж. А сами косят на машину. А машина ближе, ближе. А сбоку машины Махра на крючке несется, правую руку уж «выручкой» вытянул – приготовился. Поравнялись: «Махра, выручку!» – р-раз! – цапнулись руками, и Пашка выхватился с обочины дороги. Вдвоем несутся. «Выручку, Паха!» – Пашка р-раз! – Ляму с обочины дерганул. Ляма на одном коньке, как протезный инвалид понёсся. «Ляма, выручку!» – Толяпа прилетел, выдернутый Лямой. И помчалась связка орлов по дороге: глаза слезятся, запахи бензина, резины, грязной дороги стегают в лицо горячо ревущей опасностью. Сердце выпрыгивает изо рта от восторга!

Случались, правду сказать, и накладочки. Ну да у кого их не бывает. Летят как-то орлы по дороге, смеются, радуются, всё нормально. Вдруг бах! – на полном ходу шофёр на тормоза. Полуторка заюлила, заметалась на дороге, вся связка лбами в задний борт – рассыпалась и рвать от машины. Махра зачем-то побежал прямо по «целику», по снегу. Шофер догоняет. Махра бежит, вязнет в снегу. Упал. Чёрт с ним, пусть срезает! Но шофёр не стал срезать у Генки коньки – шофёр начал пинать Генку ногами. Как тряпичную куклу. Под ребра, по ногам, по заду, в спину. От неожиданности, боли и

страха мальчишка в штаны мочился, корчился, закрывался руками. Шофёр пинал. Потом пошёл к машине. Генка валялся будто обваленный в муке, выпотрошенный чебак. В пустых окнах строящегося дома застыли ребята. Не стовариваясь, стали шарить обломки кирпичей. Шофер схватился за затылок, шапка кувыркнулась в воздухе. Оседая у борта полуторки, он поворачивался, тянулся в ту сторону, откуда прилетел кирпич. Ребята бросились врассыпную.

Только на третий день Генка появился на улице. Был он бледен, вымученно улыбался. «Ну как, Гена? – участливо окружили его ребята. – Здорово он тебя?» – «Да ништяк, пацаны! Он, гад, лежачего. Встать мне не давал. Мне б подняться только – кончал бы подлюгу!» Генка сжал худой кулак, на глаза навернулись слёзы. Отвернулся. Пашка обнял его за плечо. «Брось, Гена! Не переживай. Он, зверюга, получил свое. Будет теперь пинаться!»

Или заявляются Махра и Паха в класс, и оба с ободранными носами.

– Вы чего, ребята?!

– Да опять зола!

– Ну-у! Где?!

– Да возле «Кировки»! – пояснял Пашка и голос возвышал, чтобы все слышали: – Так что знай, пацаны: возле «Кировки» дорога золой пересыпана! – и опускал голос в досаду: – Нам бы на тормозах проскочить золу-то. Не заметили...

Ляма, сидя на парте, испуганно-удивлённо мотал круглой

своей головой:

– Ты смотри, чего стали с людьми делать, а? Вот это да-а...

– Да уж чего хорошего, – соглашались с ним люди, – совсем житья не стало...

Юра не умел цепляться крючком за машину, и это обстоятельство очень его огорчало. Впрочем, вначале он вообще не умел кататься на коньках. У него их просто не было. Всё привез из Германии Сергей Илларионович, а коньки забыл. Упустил как-то из виду, может, просто на глаза не попались. Бывает. И пришлось коньки сыну покупать. После долгих, слёзных просьб того, конечно. Но вещь, по мнению Сергея Илларионовича, должна быть долговечной, следовательно, добротной, прежде всего, и поэтому всякие там ржавые «дутьши» и «снегуры», поштучно срезанные добычливыми шоферами на дорогах, но связками продаваемые на базаре (четушка – любая пара твоя!), он покупать не стал. Он зашёл в «Культтовары», или по-местному «Культовар», тут же, на барахолке, и приобрёл новые коньки на ботинках. Размер – сорок третий. Во-первых, Юре на вырост. Во-вторых, Сергей Илларионович полагал, что и сам, при случае, будет осуществлять воскресные оздоровительные вылазки на каток. И непременно с Полиной Романовной. Он будет кататься – Полина Романовна смотреть, как он катается. Сергей Илларионович, будучи студентом, отлично катался на коньках. Эти два обстоятельства были решающими при выборе коньков. Вручая коньки Юре, Сергей Илларионович отчеканил: «Береги их! Конькобежный спорт – это отличный спорт, Юра!»

Когда Юра, вихляясь и ломая ноги, впервые вышел на улицу в этих здоровенных ботинищах и коньках, Валька Ляма хлопнул себя по ляжкам и заорал: «Пацаны, зырь! Приказ в двух «дугласах» вышел! Сейчас в небо улетит! Дугласы, пацаны!» А Юре – какой там в небо, ему бы на земле-то устоять в этих «дугласах», подаренных папой. Ноги Юрины то буквой «О» закруглятся, то в букву «Х» выгнутся. Ну ладно, это русские буквы. А руки-то вообще иероглифами китайскими по воздуху пишут. А тут ещё р-раз! – ноги Юрины расписались вверху по-японски, и Юра на дороге сидит, очень удивляется: отчего так получилось?

Пашка бросил чистить снег у ворот, со смехом подбежал, протянул черенок деревянной лопаты: «Держись, Юра!» Юра ухватился за черенок, и потихонечку, не торопясь, Пашка повёл его по дороге. А Юра потяпкает коньками – и едет, потяпкает – и едет. Хоть и верхом на букве «О», но едет. Опять же «Х» когда – так того пуще. Красота! «Вот так-то лучше!» – смеялся Пашка.

Каждую зиму городской каток растекался и замерзал по стадиону на окраине городка. Каток не имел ни чёткого размера, ни чётких границ. А если посмотреть на него с другой окраины, с восточной, с гор, то походил он на распластанного осьминога с бездонным жутким глазом, ползущего от городка прочь, в бескрайнюю белую степь. Ещё в первый год войны окрестные жители по ночам растащили забор, скамейки поотпинавали пимами, посширкали пилами столбы

и столбики. Чудом уцелела высоченная входная арка – два выстреленных в небо дощатых колодца. Колодцы эти схватились вверху аркой, как два друга не сильно трезвые. На самой арке прибиты были из колотого штакетника замшелые буквы: ...А Д И О... «Это «адио» что, спортивное общество такое?» – поинтересовался Юра, когда в первый раз пришёл на каток с Пашкой, Лямой и Махрой. «Ду-у-ура! – в полверсты растянул слово Ляма, но пояснение всё же дал: – Стадион!.. «Адио», тоже мне...» Ворот при входе нет – лишнее. Двери на колодцах тоже потеряны безвозвратно. По ночам в эти колодцы чёртом забирался степной ветер, повизгивал и жутко выл, как в порожнем элеваторе. Днём тут не страшно – днём это «кассы». Ребята заглянули внутрь: о, тут тоже, оказывается, лед. Только желтый. Но кроме прочих всех дел тут можно задрать голову и высмотреть в конце дырявого колодца, как снежинку бледную, далёкую звёздочку. И это посреди ясного дня. Или высунуться из низенького кассового оконца наружу и хитро сказать: «Махра, ку-ку!» – и тут же получить снежок в лицо и дикий совершенно хохот Махры.

По вечерам с арки, из старого, военных лет, громкоговорителя, как из усохшей глотки, сахариново пело:

...Утомлённое со-олнце нежно с морем проща-алось...

А по тёмному льду степной пронизывающий ветер гонял из конца в конец позёмку да с пяток красноносых, упорных

конькобежцев, закутанных, замотанных шарфами. Высоко на столбе одиноко моталась лампочка под железной тарелкой – словно толстощёкий цирковой китаец на трапеции раскачивал широкие светящиеся штанины туда-сюда: по льду, по сугробам, возле арки... А конькобежцы словно гонялись за этими «штанами», путались в них и в безнадежности унывали в темноту.

Но чтобы Юру Сергей Илларионович пустил вечером на каток – даже если хорошая погода и на катке полно народа, даже если всё время играет музыка и под неё красиво катаются очень красивые девочки – об этом не могло быть и речи. Только днём, только в воскресенье, только с Пашей. Пашка в глазах Сергея Илларионовича считался надёжным человеком. «Чтобы всё было хорошо, Паша!» – стоя на крыльце в тужурке, чеканил Сергей Илларионович. Что именно «всё» – он не пояснял, но Пашка на всякий случай солидно удивлялся: «Да какой разговор, Сергей Илларионович?» И ребята ехали на коньках со двора. «Юра, в четыре часа!» – вбивал «кол» на прощание Сергей Илларионович.

На улице, за домом, где бдительный Сергей Илларионович видеть ребят уже не мог, к ним радостно присоединялись Ляма и Махра.

Катание на Юриных коньках происходило так: сначала сам Юра делал круга два по стадиону, садился в сугроб, снимал ботинки и надевал Пашкины валенки без коньков. (Коньки были сняты, как только исчезал с глаз Сергей Илларионович.)

ларионович.) Затем Пашка осторожно – непривычно на ботинках, не то что на валенках – ширкался пару кругов. Дальше маленький Ляма с трудом закреплялся в здоровенных ботинках и ехал. И вот уже длинный Махра с большим недоверием истинного профессионала разглядывает, крутит в руках коньки на ботинках: разве может путное что-нибудь выйти из этой затеи? Без надёжного крюка в руках и... ехать? Но уже через минуту, вывихливая руками-ногами на льду, орал удивленно-радостно: «Пацаны, е-еду!»

Потом опять Юра... Пашка... Ляма... Махра... И так каждый переобувался раза три. Но получаемое удовольствие ото льда и настоящих коньков стоило того.

А дальше было уже: «Дядя, сколь время?..» «Тётяшка, который час?..»

Ровно в четыре часа Пашка и Юра – оба на коньках – въезжали в свой двор. Сергей Илларионович – в морозном окне, как замороженный судак, слушал бой своих идиотских часов. Затем закрывал крышку и с удовлетворением опускал часы в карман тужурки. Вечером же он сам шёл на каток вместе с Полиной Романовной. Сергей Илларионович катался под музыку, а Полина Романовна стояла и смотрела, держа под мышками длинные плоские, фабричной катки валенки Сергея Илларионовича. По одному валенку с каждой стороны.

Но в одно из воскресений Пашка напрасно ожидал Юру на каток, зря раскатывал на своих «дутьше» и «норвежке»

перед окнами Колобовых. Юра появился в окне, как живой печальный цветок посреди мёртвых морозных цветов, и отрицательно покачался. Пашка удивился. И продолжал удивляться в последующие дни – Юра стал избегать его, Пашку. Поздоровается, два-три слова и: «Я сейчас тороплюсь, Паша, после зайду к тебе...» И не заходил. Чудеса! Пашка всерьёз уж было начал обижаться на Юру, хотел даже «пару ласковых» сказать ему на прощанье, но причина непонятного поведения Юры оказалась простой – ему было стыдно. Непереносимо стыдно перед Пашей, перед ребятами. Стыдно за себя, за свои коньки, за своего папу. Оказалось, Юра, как всегда восторженно, рассказал дома, как они все вместе катаются на катке – Сергей Илларионович тут же с большим возмущением отобрал коньки. И спрятал. Как будто он, Юра, их возьмет теперь. Да и не нужны они ему вовсе! Пусть их, раз так... «Брось, Юра! Подумаешь – коньки», – успокаивал его Пашка. «Но ведь он подарил их мне! – чуть не плача, говорил Юра. – Значит я... Да и если наденет кто другой и покатается – это же всё равно, что я! Конькам-то что будет от этого?» – «Да ладно, Юра, плюнь...»

Спустя несколько дней Пашка и отец возвращались домой из бани. Оба с берёзовыми вениками под мышками, распаренные, умиротворенные. Уже перед домом отец спросил, почему ребята перестали ходить на каток. Пашка разъяснил. Отец остановился и начал постёгивать веником по валенку.

– Ах ты, немец чёртов! А ну пошли!

Домой влетел, чуть дверь с петель не сдёрнул.

– А ну, мать, – живо какие деньги у нас!

– Это ещё зачем? – подозрительно прищурилась мать.

– Давай, тебе говорят! – хлестнул по валенку веником отец. Мать испуганно кинулась к комоду, начала торопливо рыться под бельём. – Быстрее! – гремел отец. Схватил деньги: – Пашка, за мной! – И оба вылетели за дверь. И с вениками, и с бельём. Мать упала на табуретку.

Через час появились с новенькими блестящими коньками на ботинках. Ойкнула мать и вторично села на табуретку.

– Ничего, ничего, мать, не пугайся! Ну-ка Паш, надень!

– А есть-то чего будете, а? – запричитала мать. – Подумал, а?

– Ничего, ничего! На-ка вот, осталось тут... – Отец сунил ей в руку скомканную красную тридцатку. – Давай, Паш, пройдишь!.. Ну вот – совсем другое дело! А то ишь чего, жмот, удумал!

– Какой жмот? – Мать убито разглядывала тридцатку. – О чём ты?

– Сами знаем! – подмигнул Пашке отец.

Теперь на катке ребята катались на Пашкиных коньках. Однако Сергей Илларионович увидел некий вызов в безрассудном поступке Пашкиного отца. Ущемленность своего точно заведённого немецкого достоинства ощутил он. Тщательно взвесив все «за» и «против», Сергей Илларионович счел возможным вернуть коньки Юре. Подарить как бы

опять. Во второй раз.

...И вот схлестнувшись из-за Юры с матерью, Пашка, как злых шмелей, вытряхивал угли из утюга в углу двора. Он долго, уже бессмысленно тряс пустой утюг, топчась сапогами в еле затянувшихся лужицах с подживающими коростами грязи, тоскливо взглядывал в черноту мартовского ночного неба. И опять виделось ему, как Юра, спотыкаясь, торопится по тёмным улочкам городка, торопится домой, теперь уже на другую квартиру, куда Колобовы переехали прошлым летом; как боязливо косится он на чёрные дворы, вздрагивая от внезапно-заливистых собачонок и прижимая к груди коньки, которые – в который раз уж! – вновь подарены ему папой... Видит Пашка, как потухше стоит Юра перед освещённым злобой Сергеем Илларионовичем, и тот тычет ему под нос идиотские свои часы, потом вырывает из рук коньки... Пашка замер с расхлябнутым утюгом в руках: как он забыл? Как? Ведь и покатались-то бы, наверно, в последний раз – днём лужи уже на катке, к вечеру только и подмерзает... Нет, завтра же он пойдёт к Юре, прямо домой, и скажет... А что он скажет?.. Что забыл? Про дружбу их забыл?.. Еще тяжелей и муторней стало на душе у Пашки.

Но как бы ни клял, ни стыдил себя Пашка в тот вечер, а Юра, верный, добрый Юра той весной отошёл для него на задний план. Впереди оказался Гребнёв со странной и непонятной своей дружбой. Пашка потом задним умом сам будет

удивляться: куда? чем он смотрел?..

8

Однажды, вытирая в сенях Гребнёвых сапоги, Пашка услышал из-за двери голос старухи. Старуха с какой-то испуганной натугой выкрикивала, как ударила:

– В партию?! Прокляну! Антихрист! В партию?! Не допущу!..

Пашка удивлённо замер.

– Вы дура, м-мамаша! – зло бубнил Гребнёв. – Если вы будете п-п-путаться под ногами, я вас из дому в-в-вышебу к чёртовой матери, м-маа-аша!

– Только попробуй! Только попробуй! Забыл? Забыл откуда деньги? Так я тебе живо напомню!.. Ишь чего надумали, антихристы! Энтото выбл...ка комунячьего привечают, дескать, старуха из ума выжила – не поймёт... В партию?! – И опять завизжала, как на пожаре: – Прокляну! Антихрист! Не допущу!

Откуда-то выскочил голосок тёти Лизы:

– Ах ты, старая клизма! Ты моему Васе мешать? Ты нам мешать?.. Да я те зенки повыцарапаю! Всю мусатку в кровь, в кровь!..

За дверью что-то загремело, упало, покатилося.

Пашка почувствовал, что краснеет, попятился от двери и, как вор, на цыпочках вышел на крыльцо. Приподнял за ручку скрипучую сенную дверь, осторожно притворил. Мимо

окон к воротам не пошёл, а быстро пересёк двор и махнул через штaketник.

«Вот тебе и «пяртия»! – ошарашенно думал Пашка, сидя дома за столом. – Значит, в партию Гребнёв собрался... Однако – новость!»

– Чего настёганный такой примчался? – спросила мать. Длинная картофельная стружка из-под её ножа раскачивалась, пружинила над ведром. Стружка сорвалась в ведро, и белая картофелина со всплеском полетела в кастрюлю, полную воды. – Я чего говорю-то, пирогов, что ли, нет сегодня?

– Да пошли вы со своими пирогами! – Пашка ринулся из комнаты, на ходу хватая, дёргая зло с гвоздя телогрейку.

– Я вот тебе пойду! Вот возьму сейчас дрын!.. – неслось вслед.

Не разбирая дороги, Пашка слепо шёл по вечерней, затаённо дышащей погребом улице. «Но я-то, я-то при чём? – проваливались, оступались бегучие мысли вместе с сапогами в чёрные пустоты дороги. – Он вступает – ну и чёрт с ним! Я-то при чём?.. А старуха-то! Вот тебе и тихоня! Но почему она про меня орала? Я-то тут с какого боку?..»

Когда бы ни пришёл Пашка к Гребнёвым, старуха сразу менялась лицом, срывалась с места и, как тёмненькая, но стеснительная тучка, исчезала куда-то. Она словно боялась пролить злобу свою при всех.

Если, к примеру, Пашка входил в «залю» и старуха была

там, то тут же вскакивала и исчезала в кухне. Если Пашка в кухню – она в «зало». Да что она, боится его, что ли? – шаркался от старухи Пашка. Или ненавидит? Никогда не смотрит тебе в глаза. В ноги куда-то, в ноги. И шипит, и шипит. Как змея. А чего шипит – сам чёрт не разберёт!

Или сидят все в комнате, а старуха на кухне. Пойдёт тётя Лиза за чем-нибудь в кухню, и будто угли в воду начнут кидать, – и зашипели, и зашипели. Теперь уже обе. Возвращается тётя Лиза – опять лицо сияет красной головёшкой. Как в кухню – так ш-ш-ши! ш-ш-ши! там чего-то. «Однако странно!» – думал Пашка.

Старуха была сильно набожной. Один угол в кухне весь был завешен её иконами. Большими, средними, маленькими. Целый город икон. Будто повис в небе и в цветах бумажных, как в бело-голубых садах, утопает.

Были ещё у старухи диковинные церковные книги. Тяжеленные. Взял как-то Пашка одну в руки. Прикинул вес: килограмма три потянет, не меньше. Что это? Библия? Молитвенник какой? – Пашка не успел разобрать: сзади кошкой подкралась старуха, цапнула книгу. Захлопнула – и в «зало», опавнув Пашку холодом тучки. «Да что она, дура, съем я её книгу, что ли?» – испугался Пашка.

И только один раз старуха Гребнёва встретила Пашку приветливо.

Он зашёл к Гребнёвым днём, перед школой узнать там чего-то или передать дяде Васе. Старуха стояла под икона-

ми, опершись рукой на столик, как для фотографии, и, глядя Пашке прямо в глаза... улыбалась. Чудеса! Пашка растерянно улыбнулся в ответ. А старуха вдруг резко, как тряпичная кукла, кланькнулась Пашке в пояс и с каким-то слезливым надрывом проголосила:

– Сыно-ок, Христо-ос воскрес!

– Где?! – испуганно оглянулся Пашка.

Тогда старуха сама подходит к Пашке, вытирает ладонью свой жабий рот и лезет целоваться. Пашка в ужасе отпрянул, но старуха все-таки жамкнула его в край рта, а потом стала совать в руки два яйца – красное и синее. Пашка молчком отбивается, старуха молчком суёт яйца. Тут из «зало» вышла тётя Лиза, по-кошачьи прищурилась на Пашку и стремительно, мокро поцеловала. Прямо в губы. Пашка аж отбросился. А тётя Лиза уже вручает ему кожано-коричневый кулич, как распухший гриб с белой макушкой. Оказывается, Пасха. Праздник. Фу-у ты! Да-а...

Летом из зашторенного мрака квартиры Колобовых в тихо остывающее золото вечера всегда неожиданно вылетал совершенно невероятный, мужской глубины и дикости, женский голос. Дребезжаще тыкая одним пальцем в расстроенное пианино, Полина Романовна пела:

...поймёт как я стр-радал и как я стра-а-ажду-у!..

С большим возмущением захлопывал окно Пашкин отец. – Ты смотри – поёт! А? Нигде не работает – и поёт! – Друг отца, дядя Гоша, смеялся, а отец всё продолжал удивляться: – Ведь этот мерзавец свиней в детстве пас! А сейчас паразитку держит. Ну как же – может! Куда идём, Гоша? Что это за барыньки вокруг нас? Чуть «бугор» – так дома у него паразитка! А? Да работать их, гадин, работать заставить! Мешки, камни таскать! – стучал он кулаком по столу.

...люблю тебя, люблю-ю-ю тебя-а-а!..

Рвался страшный голос в форточку. Отец замирал, затем беспомощно оглядывался на всех: да что же это такое?.. Дядя Гоша хохотал. А отец уже с лихорадочной поспешностью тянется, подпрыгивает, ловит форточку, захлопывает её, на-

конец, и руки даже отряхивает, словно измазался об этот голос в форточке.

– Певица эта вон моей: «Мамаша, помойте мне, пожалуйста, полы. Я вам три рубля заплачу». А эта... – муж зло глянул на жену, – мамаша, сорока лет от роду, идёт и моет! А, Гоша?.. Ия тебе пойду ещё! Ия тебе!..

– Ишь, ишь, разбушевался! – скрестив руки на груди, смеялась мать. – Испугались тебя...

Отец аж подавился – в тылу измена! – стучал кулаком, головой мотал:

– Ты меня знаешь, Маня! Это тебе не охота моя! Это тебе...

– Да ладно уж, Ваня! – Жена прильнула на миг к плечу мужа. – Сказала ведь: не пойду больше...

– И деньги, и деньги чтоб отдала! И деньги! – не унимался отец. Он схватился крутить самокрутку, но руки тряслись, махорка просыпалась на клеёнку. Глядя на него, все молчали, но отец не замечал своих прыгающих рук и, блуждая взглядом, говорил: – Парнишку совсем забили, паразиты...

– Неужели бьют? – испуганно спросил дядя Гоша.

– Эх, Гоша, да разве ж только кулаками можно бить человека? Ведь он, скотина, продыху Юре не даёт! «Куда пошёл? Откуда идёшь? Немедленно домой! Ну-ка дыхни!» (Это он на табак.) И всё это на глазах ребят, его товарищей. Разве это воспитание?.. Попробовал бы вон Пашку моего так ломать – он бы показал ему кузькину мать! «Я кому сказал?! Ты за-

был мой приказ?!» Ну мальчишки и подхватили: Приказ да Приказ... Так и стал Юра Приказом. Пашка вон всё...

– Да чего я-то сразу? – возмутился Пашка. – Ляма это прозвал...

Отец махнул рукой. Взглянул на дядю Гошу. Но тот уже не слышал никого вокруг – сидел грустный, потухший, полностью ушёл в свое, горестное, болезненное, неразрешимое. И отец, всей душой сочувствуя другу в его несчастье, уже подосадовал на себя, что заговорил о Юре, о его папаше преподобном и вообще о воспитании детей.

У дяди Гоши было два сына, погодки – Коля и Митя. В начале войны обоих призвали. Коля погиб в первые же месяцы. Когда Ивановы получили «похоронку», тетя Даша сначала ослепла от горя и слёз, а через полгода умерла. Митя прошёл всю войну без единой царапины, но домой вернулся сильно пьющим. А спустя год-полтора вообще стал горьким пьяницей. Несмотря на слёзные просьбы отца, его отовсюду гнали с работы, он часто попадал в милицию. Пил он чаще с Лёвой Тавриным, или Лёвой Лёгким по прозвищу, бывшим хирургом, тоже фронтовиком. Тот вообще частенько пропивался буквально до нитки и тогда бегал по городку в поисках выпивки налегке – в белесом материнском пыльнике, пустой и лёгкий, как балахон. И хотя пьяниц в городке всегда хватало, и особенно после войны, – эти двое были как приятная заноза у всех: они «не умели пить». То они по пояс валандаются

в городском пруду – обнимаются, плачут, целуются и падают, а пожилой казах – милиционер Чегенев – снимает сапоги и лезет их вытаскивать. То у Левы, окончательно одурев от водки, мотаются на балконе, пытаясь «обличать» прохожих. То добровольцы выкидывают их из зрительного зала на улицу, а сами возвращаются досматривать прерванную картину. То оба валяются напротив редакции, и старенький дядя Гоша пытается оттащить их по очереди во двор, а на втором этаже в окне брезгливо морщится какой-нибудь Сергей Илларионович... И всё вот такое постыдное. А ведь один был врачом, прекрасным хирургом, а другой до войны писал стихи, печатался.

Протрезвившись, Митя жестоко страдал. Дважды уже вынимали его из петли. Но проходила неделя, другая, и всё повторялось. Человек попал в Белый Круг, выхода из которого не находил.

Нередко, провожая дядю Гошу домой на окраину городка, Пашка видел, как при встрече с каким-нибудь знакомым дядя Гоша напрягался весь, натягивался. Как, разговаривая, краснел, в глаза не мог смотреть этому знакомому или, наоборот, напряжённо ловил скользкий взгляд. И ждал. Ждал только одного, что вот сейчас, вот в следующий момент знакомый заговорит о его сыне. И дожидался. Знакомый, забывая даже подмаскироваться сочувствием, с откровенным злорадством выкладывал про Митю свежую гадость. И что было, и чего, чаще, не было.

Пашка не выдерживал.

– А вы видели?..

Нет, они не имели счастья видеть такое, и слава богу, но вот говорят же...

– Говорят – в Москве кур доят! Понятно?..

– Не надо, Паша, – останавливал его дядя Гоша. Потом понуро шёл прочь.

А что дядя Гоша передумал и перечувствовал дома, один, когда по вечерам поджидал сына, когда вздрагивал от каждого шороха в сенях, когда пьяно мотнувшаяся в окошке тень поднимала его, и он, обмирая как пух, выносил себя во двор, к калитке... Весь ужас и страдание его в такие вечера можно было только представить.

Ещё до того, как уехать Колобовым из Пашкиного двора, весной Пашка и Юра рыбачили черпалкой на Иртыше. Вода уже просветлела, и ничего в сетку не попадалось. Пашка поднимал и поднимал тяжёлую черпалку, сетка с шумом выкидывалась из воды и, вся в слепких пузырях, как-то ехидненько покачивалась: а вот и пустая, вот и пустая!.. Прошли так с километр по хрусткому галечнику – бросили черпалку: чего воду пустую считать!

Ребята стянули рубашки, майки, сели на галечник, подставили белые спины прохладному ветерку и солнцу. За Иртышом на пологом взгоре распахнуто дышала пашня. Чёрными кострами бились над ней грачи. Ещё выше, на самой макушке взгора, щурилась на солнце деревенька. В сизой дымке неба по-весеннему рассыпались над домиками тополя. Сбоку пашни, по зелёному телу взгора, содралась и розово подживала дорога. Как по живому везлась по ней к деревеньке лошадка с телегой и мужичком... И казалось, что и жадно дышащая пашня, и костры грачей, и деревенька с будто рассыпанными и заколдованными над ней тополями, и лошадь на розовой дороге, и весенний, пьющий солнце воздух – всё это было и будет вечно, всё это навсегда...

– Как спокойно всё вокруг... и ласково, – мечтательно светился Юра. Упершись худыми руками в галечник, походил

он на белого тощего ангела с торчащими крылами.

Пашка согласился с Юрой, кинул камушек в воду и вдруг спросил:

– Юр, а где твоя мать? Ну, настоящая?

Лицо Юры сразу потухло.

– Я не знаю, Паша, но думаю, что она в Свердловске.

– Как это?!

– Папа мне сказал, что она умерла, когда я был совсем маленьким. Но это неправда. Она жива. Мне бабушка сказала.

Юра оторвал руки от гальки, обнял колени и невидяще уставился на несущуюся воду.

– Юр, ты про бабушку... Какая бабушка?

Юра очнулся и, словно заново видя в реке всю свою жизнь, начал о ней рассказывать:

– Папина мама. В Омске мы жили. Когда папу взяли на фронт, мы с бабушкой остались вдвоём. Однажды вечером она мне сказала, что мама моя жива и жила до войны в Свердловске. И я там родился. А потом они из-за чего-то разошлись с папой. Я очень обрадовался. Ну, что мама живая. На другое утро проснулся и хотел позвать бабушку, чтобы она ещё рассказала про маму. Позвал, а бабушка молчит, пробежал к кровати... а она уже холодная...

– Ну а мать-то, мать-то чего?

– А про маму бабушка только сказала, что зовут ее Любой и она медсестра. А где живет – бабушка не запомнила. Малограмотная она была, вот и не запомнила адрес.

– А отец? Отца спрашивал?

– Нет.

– А почему?..

Юра молчал.

– Ну и дурак ты, Юра! Да сразу за грудки: куда мать мою подевал? Отвечай!.. А ты...

Юра судорожно тёр большим пальцем гальку, и Пашка почувствовал, что Юра сейчас заплачет.

– Ну ладно, Юра, ладно, дальше-то чего было? С кем ты жил?

Дальше Юра уже рассказывал, как он голодал, как опухали у него ноги: надавишь пальцем – и вмятина белая, долго держится, смешно даже. Как расплывалась у доски учительница вместе со своими словами, когда сидел на уроках. Как долго и упорно соседи по площадке отдавали его в детдом. Как заступалась за него тётя Надя – соседка по квартире, студентка, – не отдавала его, подкармливала, потом совсем взяла к себе, и как жил он у неё до самого приезда отца...

– Я и сейчас письма ей пишу, и она мне отвечает. В гости зовёт. У неё у самой уже дочка есть – Танечка. Как вырасту – обязательно к ним в гости поеду, – закончил Юра, откинул руки назад и снова засветился мечтательным ангелом.

Взволнованный Юриным рассказом Пашка чувствовал однако какую-то досадную недоговорённость, чего-то самого главного не сказал Юра о матери... и, чтобы разговор об этом окончательно не ушёл, Пашка поспешно перевёл его на

Полину Романовну.

Оказалось, что Полина Романовна артистка, и приехала с Сергеем Илларионовичем и вещами сразу после войны. Полный вагон пришёл тогда.

– И она в этом вагоне?!

Юра рассмеялся и сказал, что вагона он не видел. На двух машинах подъехали они к дому.

– А она не обижает тебя? Полина?.. Ты только скажи!

– Нет, нет, что ты! Она хорошая...

– У тебя все хорошие...

Юра ничего не ответил, опустил глаза.

Будто наслушавшись чёрт-те чего в лесах Алтая, женой ревнущей выскакивает из предгорья взбалмошная речка Ульга. Нетерпеливо, зигзагами распихивает на стороны слоёные берега городка – и понеслась на расправу с этим обманщиком Иртышом. Тут навстречу ей остров растопырился, словно остановить, образумить её хочет – какое там! – мимо двумя рукавами обносится, и не слушая ничего, и не оборачиваясь. У насыпной старинной крепости соединяется вновь, и помчалась гулко вдоль крепостного вала, кулаками духаристо размахивая. В Иртыш ворвалась: ах ты, такой-сякой-разэтакий, Иртыш! Ты это с кем тут занимаешься?! Но перед недоумённым и величавым спокойствием супруга язык прикусывала, виновато припадала, пряталась на могучей груди и, успокоившаяся, растекалась.

К середине лета один из рукавов Ульги, огибающий остров, пересыхал в своем заходе, и образовывалась из этого рукава не то протока, не то озеро, не то болото. С чётким однако названием – Грязное. Вдоль берега Грязного перед войной и особенно после неё понаселились, понастроились бойкие люди. Хлевушки захрюкали, замычали стайки, огороды поползли к самой воде, утки закрикали, гуси заготали – и всё это в Грязное, всё в него, родимое. Люди эти бойкие быстренько свели почти всю тополиную рощу на ост-

рове, и та несколькими уцелевшими счастливчиками-тополями, свесившимися с берега, безуспешно пыталась теперь разглядеть в грязевой воде, что от неё, бедной, осталось. А где кончается просто грязь и начинается просто вода, – определить в Грязном было трудно. Бывало, играют ребятишки в догонялки, нырнёт какой-нибудь нырок, отрываясь от погони, и шурует лягушонком под водой, как бы темень руками разгребаёт. А темень-то гуще, гуще. Что за чёрт! Нырок сильнее дёргает руками-ногами – ещё хуже: ничего не видать, тьма кромешная! Вынырнет испуганно наверх, как из жидкого теста выхлынет, – грязища! – лежать можно. Однако когда тут лежать? Вон догоняющий серым гальяном выплыл рядом, головёнкой крутит, грязью плюётся: погоня! погоня! И тут же оба у-уть! – ушли обратно в грязь и вон – уже на середине выныривают, и мордашки вроде бы просветлели у них. Это значит, уже вода там.

А неподалеку, у берега, стоит с удочкой по колено в грязи юный рыболов в тубетейке. Рыболов серьёзный, упорный. Ему не до догонялок. Он ждет «шшуку». Вот клюнула! Раз! – подсёк. Ага, попалась! Ох и тяжело идёт! Выволок – ведро ржавое, и головастики из него сигают... Но тут, как зверь на ловца, – голос. Со взгорка, с улицы: «Утильля-я!» Это болтается на своей телеге, кричит казах Утильля. Будто кол из-под телеги воткнул в него – голову вскинёт, закричит благим матом: «Утильля-я-я! Сырыё-ё-ё-ё! – и уронит голову в белую бородёнку, и мычит, пережёвывает: – Тряпкам-м,

железкам-м, костяшкам-м бырём-м... всё бырём-м...» Снова кол снизу: «Утильля-я-я-я!»

Оголец хватает выуженное ведро, удочку – и побежал навстречу. Утильля смотрит на огольца добрыми старчески размытыми глазами, берёт ведро, прикидывает вес, вздыхает и забрасывает на телегу. Долго роется в драном чемодане. Улыбаясь, протягивает огольцу рыболовный крючок и впридачу гнилую, кустарно крашенную подозрительную резину под названием «воздушный шарик детский». Парнишка аккуратно цепляет крючок на тюбетейку и бежит обратно, удить. Раздуваемый «шарик детский» красным рогом бычится спереди: з-забодаю!

И вот в этом «водоёме» решил Пашка учить Юру плавать. А что, озеро Грязное самое подходящее место. А то куда годится: люди купаются, уныривают, в догонялки играют, а человек на бережку сидит. Грустный. Или на мелководье визливой девчонкой приседает. А? Как на такое смотреть? Нет. Учить. И немедленно!

– Паш, а смогу?

– Сможешь, Юра, сможешь.

Пашка взял длинную пеньковую верёвку, Юру, Ляму и Махру и решительно двинул на Грязное.

...Лодка плавила круги на самой середине озера: до берега – страшно подумать, не то что посмотреть. Юра цуциком трясся на осклизлом носу лодки. Был он обвязан по животу верёвкой. Пашка сзади держал верёвку – страховал. Ляма и

Махра вцепились в борта лодки, ждали. Что будет.

В который раз уж Юра поинтересовался, как тут с глубиной, достаточная ли. Его успокоили: в самый раз.

– Этто ххоррошоо, когда гллуббокоо, – дрожала лодка. – Только, может, где помельче сначала, а? Рребьятааа? – Юра поворачивается и моляще ловит глаза друзей. Махра и Ляма уводят глаза – не даются.

– Тебя что, столкнуть? – глянул из-под бровей Пашка.

– Нет! – взвизгнул Юра. – Я сам!

– Ну так давай! – Пашка озабоченным боцманом запербирал верёвку: Юры тут всякие на судне, время только отнимают!

Судорожно Юра вдохнул, выдохнул и – а-ааахх! – прыгнул.

А прыгнул-то... и не «солдатиком» даже, а тёткой какой-то растарашенной бултыхнулся – брызги на всё озеро. Утки в стороны кинулись. Да в лодке все брезгливо сморщились.

А где Юра? Нет Юры! Кирпичом ушёл. Только пузырьки наверх карабкаются да Пашка лихорадочно верёвку стравливает. Чтоб, значит, утопление свободное обеспечить Юре. Ляма кинулся к верёвке, потянул. Пашка хладнокровно саданул его локтем. «Не мешай! Вынырнет!» И застыл: пузырьки изучает. Верёвки ещё много в руках, да и конец её вон к цепи привязан, так что, если Юра даже надумает пойти по дну на ту сторону, – хватит верёвки. Всё предусмотрено. Без

паники. Вынырнет.

И точно: с мелкими пузырьками огромным пузырищем вылупился очумелый Юра и лопнул криком:

– Ребя... я... помог... – и снова спокойно ушёл под воду. Тут уж не зевай! Пашка молниеносно заперебирал верёвку, выдернул из воды Юру – к лодке тащит. Махра и Ляма мечутся, суетятся, мешают. А Юра совсем очумел: рвётся с верёвки, на простор, весь воздух, всё небо – до дна, до дна в себя! Руками грабастает, а всё уходит, мнется, опоры нет! Грязное бьет в лицо жидкими деревьями, берегами, лезет в нос, в глаза, рвет грудь, голову, сердце...

– Ребя-я... тону-у!.. крха!.. тон... спаси...

Пашка неторопливо подтягивает Юру к лодке, и нет, дураку, совсем вытащить его или хотя бы на борт навесить – так давай его успокаивать, учить плавать давай: поддёрнет Юру как кутёнка и отпустит, поддёрнет и отпустит...

– Спокойно, Юра, спокойно. Ты на верёвке. Плыви...

Какой там! Юра молотится, хлебает воду, орёт. Вдруг дьявольски вывернулся, цапнул со спины верёвку, рванул – Пашка взмыл ногами выше головы – и в воду! Юра к нему – и как по лестнице наверх полез: к воздуху, к небу. Оба ушли под воду.

В лодке в ужасе усталились на пузыри. Будто таймень задёргал лодку. Ребята опомнились, схватили верёвку, с трудом вытянули тонущих на поверхность. А те бьются, молотятся, рвутся друг из друга. Спасатели бросили верёвку и рты

разинули. Пашка и Юра опять ушли. Вдруг в стороне вынырнул Пашка. Один.

– Тяни! Тяни-и-и!! – захолопал по воде руками.

В лодке электрически задёргались, мгновенно подплыли безжизненного Юру. Махра ухватил его за узел на спине, с водой втащил в лодку. Пашка выпульнул на другой борт. Лодка болтается. Юра лежит на спине, бледный, глаза закрыты, рот разинут... Чего теперь?..

– Эй вы-ы! Ну-ка, чего вы там! А ну к берегу давай! – Возле самой воды прыгает на одной ноге, сапог сдирает водовоз Журавлев. Кобыла с бочкой – на бугре. – А ну живо! Пашка, кому говорю!

Ребята переглянулись и присели. Ляма заныл: «Чего теперь, Паха, а?» Пашка подхватил Юру под мышки. «Помогите!» Кинулся Махра, положили Юру на сиденье животом. Пашка начал толкать руками в спину, как тесто месить. Толчками полилась вода. Юра застонал. Быстро перевернули на спину. Юра открыл глаза.

– Паша, где я? Паша...

– Юра, живой! – сквозь слёзы рассмеялся Пашка. – Живой!

– Урра-а! Приказ! Живой! Урра-а! – забесновалось, запрыгало в лодке...

Приходили на Грязное и на другой день... И ещё несколько дней ходили. Через неделю Юра поплыл.

– Паша, плыву-у! – вопил он, крутя головой и поочередно

вынося руки неуклюжими рогулинами на воду. – Плыву-у, Па-аша!

Пашка стоял в лодке, верёвку стравливал.

– А ты как думал? Упорство – одно слово. Теперь ты человек. А то ишь чего надумал – на бережку всю жизнь просидеть. Шалишь! Плыви-и!..

Вон уже апрель на дворе распахнулся во всю ширь поднебесную, открытие охоты не за горами, а дяди Васино ружьё до сих пор не пристрелено. Непорядок. В одно из воскресений пошли. За Грязное, на остров, к Ульгинским тальникам.

По улице шли не торопясь, основательно. Солидно шли. Пашка по пояс провалился в отцовские болотные сапоги, дядя Вася, наоборот, был как подстреленный – в маленьких, ниже колен, тёти Лизиных резиновых сапожках. И хотя снег в городке давно сошёл – лужи, грязь, припекает порядком, – оба в стёганных телогрейках, подпоясанных патронташами, как богатырской силой поддутые. У Пашки одностволка прямо в небо торчит, дядя Вася будто на коня взобрался – наискось горбатил двустволкою своей. Из-за левого уха. А по обе стороны от охотников, как и полагается в таких случаях, весело припрыгивали ребятишки. Они – как те жарки-желторотики у городка на взгорье, что уже вылупились, и словно трепетливенько пищали на солнечном весеннем ветерке.

По льду через Грязное идти было нельзя – лёд налился широкими закраинами, сизо промок и словно всплывал. Везде по нему кучи мусора, битого кирпича, золы. В грязных закраинах, как пацаны по первой, ледяной ещё воде, возбужденно, радостно плескались домашние утки. Они истошно крикали, трепеща мокрыми худыми шеями. На противопо-

ложной стороне Грязного зябко ступили в закраину два голых тополя. По ним, почти у самой воды, поналипли лохматые грачиные гнезда – будто весенним половодьем намытые кучки хвороста для костерков, самой весной для новой жизни заготовленные. А в костерках этих уже орут, колготятся грачи, всю эту новую жизнь разжигают.

Чавкая сапогами в льдистых вытайках, обогнули Грязное, прошли по-весеннему плешивый остров, просквозили сочными, в почках, тальниками и выбрались, наконец, на берег Ульги.

А где Ульга-то? Вот тебе раз! Лёд только один, как бутый камень, торосится в тесных берегах. Задавил, живо похоронил Ульгу. Вот тебе и буйная, непокорная! Тут какая сила нужна поднять все эти наворотни ледяные! Даже шевельнуть, стронуть их чуть – и то представить нельзя. Но всему, как говорят, свое время. Придет и её – и покажет себя Ульга: как пушинки будет снимать она в половодье деревенские закопчённые баньки по своим берегам, как спичечные рассыпать на своем пути деревянные мосты и мостики! А пока где-то там, внизу, под этими ледяными громадами, копит силу, готовится. Возьмёт свое Ульга, возьмёт...

Пашка выбрал проталину посуше, достал из-за пазухи свёрток старых газет, аккуратно расстелил их на земле. Ребятишки замерли вокруг, не шелохнутся. Пашка вынул из патронташа два патрона, прочитал какие-то хитрые надписи на пыжах, из заднего кармана брюк вытащил длинный хими-

ческий карандаш, поплюнил его и, присев на корточки, на верхней газете справа нанес карандашом опять же какие-то хитрые циферки. Затем отделил один лист от общей стопки и деликатно, как чистую простыню, понёс его к тальникам. Все ребятишки баранами за ним. Подобрал подходящий куст, Пашка ровно укрепил на нём газету, повернулся кругом и, высоко вскидывая сапоги, пошагал. Строевым пошагал к дяде Васе Пашка. «Метры намеряет», – поясняли друг дружке, спотыкались, падали ребятишки. Не доходя метров пяти до дяди Васи, Пашка стал, крутанулся кругом и резко, как команду, выбросил руку вбок и пальцами нетерпеливо зашевелил. Дядя Вася подбежал, сунул ружьё. Пашка строго глянул на дядю Васю... Фу, чёрт! Не то ружьё! Дядя Вася сдёрнул с себя двустволку, подал. Пашка кинул ружьё в левую руку, где-то в воздухе неуследимо успев его переломить, достал из кармана приготовленную пару патронов, ловко-плавно-резким движением – оба разом – кинул их в патронник и вздёрнул-захлопнул ружьё. Ребятишки восхищенно замотались. Пашка вскинул, принял к ружью. Ребятишки тараканами от Пашки. Пашка снял ружьё из стойки, строго глянул. В одну, в другую сторону – всякое движение прекратилось. Пашка в ружьё! Ребятишки попадали на местах. Пах-пах! – почти одновременно. Классический дуплет! Ур-ря-я-я! – побежали ребятишки к газете, и несут её бережно. Пашка развернул, поднял к солнцу, в «чтение» углубился. Ребятишки наперебой начали считать выхваченные дро-

бью дырки. Пашка строго глянул из-за газеты – всё смолкло.

– Так, так... А ведь не плохо, а? Дядя Вася? – наконец-то улынулся Пашка. Ребятишки радостно запрыгали. Дядя Вася задергал ружьё:

– Дай, д-дай, я, я!..

Непереносимо долго посмотрел на дядю Васю Пашка. Дядя Вася опустил руку, помотал ею, не зная куда деть, кинул на затылок – зачесал.

– Ну зачем так волноваться, дядя Вася? – с большой укоризной спросил Пашка. – Мы что, по воробьям пукать пришли? Мы пришли пристреливать. Понимаете? А вы дёргаете... У меня патроны нумерованные – путать нельзя, а вы... Настреляетесь еще. Вот отстреляю серию...

«Нумерные патроны... путать нельзя... серию отстреляет...» – уважительно зашелестело в ребятишках.

Дальше всё пошло как по маслу: Пашка садил, ребятишки бегали, снимали-вешали мишени. Уже не изучая, Пашка складывал мишени на землю. Однако хитрые циферки надписывать не забывал. «Серия» длилась долго.

Стрелял и дядя Вася. Но стрелял... уж больно необычно. Он точно во что бы то ни стало хотел удержать выстрел в руках. И потому взбрыкивал козлом как-то впереди его, выстрела... Но выстрел разве удержишь? Вот и получалось: подпрыгнет поперёд выстрела и шебуршится потом сапожками на льдистом снегу, как бы успокаивает ноги, в первоначальное состояние приводит. Стеганёт из второго ствола и

опять переставляет сапожки. И голову за дым тянет, увидеть там чего-то хочет... Странно стрелял дядя Вася. Но попадал тоже.

Ну, а ребяташки-то? Как же они?.. Стреляли! Все как один! Которые даже по два раза. Правда, уже из Пашкиной одностволки, но шарахали будь здоров! Женька Пикнушкин – первоклашка – и тот саданул! Пашка опустился на колени, поставил впереди себя побледневшего Женьку, вместе прижали приклад к Женькиному пузу, и Женька трясущимся пальчиком дерганул курок: ж-ж-жах-х! – кувыркнулись оба на спину, только дым пошёл! Вот смеху-то было!

Учился Пашка неважно. Как попали они в пятом классе с Махрой на заднюю парту, так сидели там и, как говорится, не рыпались. Будто нездешние. Будто временные какие-то. Вот-вот вышибать должны их, но сидят пока. Безобидные. Никому не мешают. И до каких пор сидеть будут – неизвестно. Ушлый Ляма с первых парт нет-нет да и четверку изловит. Эти двое – нет: три-два, три-два – так и хромали сзади, будто в колодах. И когда Юра спросил как-то у Пашки, куда тот собирается поступать после семилетки, Пашка пожал плечами.

– В ФЗУ, наверно...

Ребята пилили дрова возле Пашкиного сарая. Дрова – нетолстая, сухая сосна, пила хорошо разведена, наточена: звенит, поёт, сама идёт! Не пилишь – играешь!

– А ты подтянись. Год ведь ещё. Целый год. А хочешь, я помогу? И в техникум тогда?

– Не-е, Юра, я к учебе неспособный. Тупой я, наверно. Пробовал. Ничего не выходит.

Да кто это сказал? Тупой... не хуже других. Просто, видимо, запустил, и всё. Так что с завтрашнего дня они садятся за учебники, и он, Юра, обещает, что через год Пашка сможет поступить в любой техникум! Кстати, в какой бы ты хотел?..

Пашка положил полено на козлы, взял пилу, протянул её

ручкой Юре и, начав пилить, неуверенно как-то, смущённо сказал:

– Я бы в этот... в леснический бы...

– В какой, в какой?

– Ну, чтоб на лесничего. В лесу чтоб. Как он там называется?

– Лесной, наверное. Лесной техникум. А где он находится?

– Да не знаю я! – уже подосадовал на себя Пашка, что так неосторожно рассыпал мечту свою и, словно замечая ее обратно, как веником, пустил фальшиво-весело: – Ну, передохнём маленько?

– А хочешь, я узнаю?.. Папа мой узнает? А, Паша?

– Ну узнай, коль охота. Без толку только это все.

Но ведь они могли бы...

– Да ладно, Юра. Смотри-ка лучше – солнышко балуется!

А солнце и впрямь будто забавлялось в небе. Завидит облачко какое – и давай подкрадываться к нему, и давай на цыпочках за спину ему заходить. Обнимет, олучит со всех сторон: кто это, отгадай?.. Облачко пустит испуганную тень на землю, а солнце уже отскочило и смеется во весь рот: обмануло! обмануло! Серьёзное облачко поспешно пятится подалее и оглядывается: ну и шуточки однако! А солнце уже нового разиню высматривает. Ага! – вон целое облако шестует, будто начальник важный раздулось. Сейчас я его! – и давай опять подкрадываться, смех тая в груди... Пашка на-

блюдал, жмурился, улыбался...

– Паш, а почему ты книги не читаешь? – сдёрнул его с облаков Юра.

Пашка не то что не любил читать книжки – он почитывал, но описываемая в них жизнь казалась ему выдуманной какой-то. Фальшивой, неправдашной. Какой-то составленной, переделанной, что ли. И каждым писателем вроде бы на свой лад, а получалось на один, общий какой-то лад. Но жизнь, как ни переставляй, всё равно – жизнь. Вон она: во дворе, на улице – и совсем другая. И у взрослых, и у детей. И больше всего порой поражало Пашку не само содержание повести или рассказа, а то, как может один человек – писатель – составить столько слов. Это же целые составы, эшелоны, поезда слов! И это – один. Ловко! Однако всё у всех этих писателей как-то одинаково, безлико, как всё те же вагоны... Обо всём этом и начал было путано говорить Пашка Юре, но тот перебил его:

– И что, все плохие, все неинтересные?..

– Ну зачем все... Есть ничего. Этот... как его?.. Робинзон Крузо ничего. Да и про Павку Корчагина стоящая. Айвенго, вон... А остальные!.. «Васёк Трубачев и его товарищи»... Это ж умора, а не книга!

– А «Овод» читал? Хочешь, дам?

– Ну ты даёшь! Про мух, что ли?

– Нет, нет! Про революционера и про любовь тоже...

– Еще чего! Про любовь... – Пашка скривился. – Меня на

любовь не купишь! Я её навиделся. Шалишь! «Любовь»...
Залезут в кусты – и вся любовь...

Юра покраснел.

– Неправда! Врёшь ты!

– Дурак ты, Юра. – Пашка подошёл к куче дров, вытащил
полено. – В парк вон вечером сходи – увидишь, что такое
«любовь»...

Юра молча повернулся и пошёл от Пашки.

– Ну я-то при чём, Юра?! – застыл с поленом в руках Пашка.

– Нехороший ты! Грязный! грязный! – слезливо выкрикнул Юра.

– А ты... ты придурок! – Пашка саданул поленом по козлам.

Потом Пашка стоял и со стыдом вспоминал, как по вечерам они с мальчишками скрадывали в парке «влюблённые» парочки. Как терпеливо дожидались «интересного» момента и уж тогда с полным основанием открывали огонь из рогаток. И вихрем мчали хохот, пугая на скамейках других, «приличествующих» пока что влюбленных... А на острове, за Грязным, на что они натыкались с ребятами среди бела дня?.. Что же, глаза закрывать? отворачиваться? убежать?..

А ты говоришь: литература, книжки, любовь... Эх, Юра, где ты только рос, что умудрился ничего этого не видеть?..

Пашка медленно пошёл к дому, приклонив голову к пле-

чу. Он-то, Пашка, в чём виноват? В чём?..

Как-то уже в середине апреля Гребнёв, ожив после очередного ступора своего, сказал удивлённо:

– А я п-подсадную ку-упил...

– Да что же вы молчали-то целый вечер? – воскликнул Пашка.

Схватили «летучую мышь», поспешили к сараю.

Утка лежала на соломенной подстилке прямо под курами, под насестом. Маленькая была уточка – чуть больше чирка. Вытянутая, как лодочка, с серо-ржавым пером. Лежит как подстреленная – шея крендельком сложилась на крыло, глаз задёрнулся морщинистой шторкой.

Пашка присел и легонько подтолкнул уточку, дескать, чего ж ты дрыхнешь, смотреть тебя пришли – вставай! Шторка раздёрнулась, головка, как брошенная, вскинулась и заходила продольно. Испуганная, удивлённая... Уточка вскочила и замоталась на лапках, как утка настоящая. Головка вдоль, а тулово поперёк качаются одновременно – здорово интересно!

Утку Гребнёв купил у Петьки Шихаля – полусумасшедшего старика, пропащего голубятника, который в неизменном выгоревшем плаще с капюшоном всё ещё бегал-лазил с ребятами по крышам и чердакам. И отдал Гребнёв четыреста пятьдесят. Пашка удивился цене. «Да, ч-ч-четыре-

ста пя-яятьдесят о-о-отда-а-ал», – долго «искрились» склянки Гребнёва короткими замыканиями.

Конечно, Петька Шихалев голубытник – никакой: это знали все. Но подсадные у него – сила. Где, когда и как Петька отлавливал диких селезней, чтобы спарить их с домашними утками, чтобы новую, подсадную, породу получить, – неизвестно. Однако когда его останавливал на улице покупатель – серьёзный покупатель – и спрашивал про подсадную, Петька тут же выдёргивал из-под плаща утку. Будто только что им самим высиженную. «Во! Живая!» – И глаза горели из-под капюшона как у куклуксклановца... Так что, если утка из-под Петьки Шихаля, то только на воду пустить: орать будет – наизнанку выворачиваться!..

– А зачем под кур-то посадили? Ведь обгадят всю...

– Верно. Не п-подумал.

Перетащили соломенную подстилку в другой угол, осторожно перетянули за шнур вспархивающую утку и почему-то на цыпочках, как из комнаты спящего, уплыли с фонарём за дверь. И уж совсем ни к чему заскрежетал на двери пудовый гребнёвский замчина.

Придя от Гребнёвых домой и стаскивая в кухне сапоги, Пашка услышал из комнаты радостный голос дяди Гоши:

– ...у Кондратьева в автоколонне. Слесарем. Третья неделя пошла, третья, Ваня!

Речь, сразу догадался Пашка, шла о Мите.

– Ну дай бог, Гоша, дай бог! – порадовался отец.

Они сидели у самовара, накрытые уютным, приглашающим светом абажура. Мать, как всегда в это время, мыла полы в редакции.

Дядя Гоша отодвинул табуретку, пригласил Пашку чайку с ними попить

Пашка сел. И зачем-то сразу рассказал, что Гребнёв купил подсадную. Хотел, видимо, показать отцу всю серьёзность намерений Гребнёва как начинающего охотника. И отец сразу злорадно оживился.

– Так я и знал! – И полез за кisetом.

– Что ты знал? – как мог спокойней спросил Пашка.

– Что купит подсадную. Так и знал.

– Ну и что?

– Ничего. Просто я знал, что этот кулак купит подсадную, что честно охотиться он не будет, – сказал отец и стал как-то уж очень любовно заглаживать скрученную сигарку вверх, словно это уже и не сигарка вовсе, а наконец-то склеенный окончательно трудный вопрос.

Пашка, уже понимая всю бесполезность спора, с надсадой спросил:

– Ну при чём тут подсадная утка и кулак? А? При чём?!

– О ком это вы? – спросил дядя Гоша, но отец не слышал его и уже орал:

– А при том, разлюбезный сыночек, что тебе, сыну рабочего, партийца, негоже как-то якшаться со всяким кулацким отродьем! Вот при чём! Понял?! – И отец зло прихлопнул не

прикуренную сигарку, вскочил и заходил по комнате.

– Да о ком это вы?! – рассмеялся дядя Гоша, но его не слышали.\

– Да что вы все пристали к нему?! – кричал Пашка. – Ну какой он кулак? Какой?.. Он же работает... он же... – Пашка вдруг чуть не сказал, что Гребнёв даже в партию собирается вступить, но вовремя заткнулся.\

– Осёл ты, Пашка, честное слово. Пойми: жулик он. Махровый жулик! Откуда у экспедиторишки, у... у этого жалкого паразитишки такие деньги, а? Сразу дом покупает за многие тысячи, барахло всё время везёт и тащит! Откуда?.. А ты, сын партийца, ходишь к нему и жрёшь там у них эти... эти подлые пироги!.. Ну чего, спрашивается, ходит туда? – спросил отец у своей тени в углу. Повернулся: – Ну какой, к чёрту, он тебе друг? О чём с ним говорить?

– А если б тебя попросил человек помочь... охоте научить... патроны... ты бы отказал, да? Отказал

– Человеку – никогда! Пожалуйста, приходи в любое время, покажу, научу, что сам знаю... на охоту с собой возьму! Пожалуйста! Если ты человек... Но он-то, он-то?! Ну какие они, к чёрту, люди? Ведь одна выгода, жульничество в башках? И тебе он не зря крючок кинул, ох не зря-я! Вот только не пойму пока – зачем?.. Но попомни мое слово: измажешься в дерьме – долго отмываться будешь! Попомни... И ведь здороваться Склянка чёртова стал: «З-з-здрасти, Иван М-м-миха-алыч!» Не-ет, тут что-то не так! Что-то готовится. На-

верняка...

– Да о ком ты, чёрт возьми! – всё пытался узнать дядя Гоша.

Пашка ринулся в кухню, плюхнулся за столик на табуретку да ещё кулаком подперся обиженно. Но вопросы отца царпались, кололись, требовали ответа.

В самом деле, почему у них и отец работает и мать, а живут впроголодь? Мяса зимой – так почти не видят. Ладно, осенью, весной – охота. А зимой? Базар мясом завален, а спросишь цену – и отскочишь! Отцу вон молоко стали давать в типографии, так всё равно домой несёт. Да ещё обманывает, что желудок не принимает, и мать ругается всё время с ним из-за этого. А ему молоко надо пить – работа-то какая: свинец, баббит, пыль. Так втолкуй ему! «Пей, тебе говорят, и никаких гвоздей!» Да ещё смотрит, пока не выпьешь. А молоко это в глотку Пашке не лезет. А в магазинах что творится? С полгода как карточки отменили, а лучше бы не отменяли – за хлебом убийство. Того и гляди голову оторвут. Пашка-то знает. На собственных боках и костях испытывает. Хлеб-то кто доставать будет? Отец на работе, а мать... Но так придавили однажды мать, что бледнеет теперь, подходя к магазину. Да и Пашку провожает – как на бой. Но он, Пашка, вёрткий. Его так просто не раздавишь. Шалишь! Братва, прорвёмся? И пошли буравиться к прилавку Пашка, Ляма и Махра.

Но все ж таки послабление уже есть. Снижение вон было.

Хоть и не больно чтоб уж очень товаров на полках, но всё равно знаешь, что всё дешевле теперь. Опять же – реформа денежная. Тоже – деньги другие, вроде красивше прежних. Но Гребнёву-то плевать на всё это, – Гребнёв-то живёт! Ну, ладно – Сергей Илларионович: нахапал, да и сейчас из отдельного магазина всё получает. Ладно. Как и Пашкин отец – воевал. Да и начальник всё же какой-никакой. Ладно. Чёрт с ним! Но Гребнёв-то: и фронта не нюхал, неизвестно, где всю войну ошивался, да и начальник... экспедитор... тьфу! А всё есть. Почему? Может, бережливый просто? Да и не пьёт?.. Но вопросы эти фальшивые были Пашке просто ложью во спасение.

Чувствовал он правду в словах отца. Да какой чувствовал! – знал, точно знал, все знали, что Гребнёв жулик! Однако из дикого упрямства, а самое главное, из-за настойчиво вылезавшей мысли о том, что его, Пашку, околпачили и продолжают околпачивать и дальше, мысли, которую он трусливо давил, заталкивал обратно, – Пашка не хотел, не мог признать правоту отца. Трудно признаваться себе в своей же глупости. Мысль не новая, но уж больно обидная.

Пашка вздохнул, полез в сумку за учебниками. Вот тоже: восемь экзаменов через полтора месяца... Это ж только в кошмарном сне может такое присниться! Как сдавать будет Пашка – одному богу известно. Эх, лучше не думать ни о чём! Пашка бросил сумку и снова навесил голову на кулак.

Наконец в середине апреля Иртыш медленно, вяло, как чалдон после городского базара, начал стаскивать, снимать с себя ледовую шубу. Спустит один рукав и ждёт чего-то, пьяно течением мотаясь. Другой – и не поймёт, что это за рукав и зачем он. Широкую протоку-полу приоткрыл и забыл тут же о ней – протока закрылась. С плеч вон на пузо сползло – бугрится, торосится затором: и что это такое? – удивленно лупит глаза Иртыш... Да сколько же сдирать-то её, проклятушую? И будто на спину опрокинется и давай елозить, пинать, толкать клятую в низовье, на север, к «порогу избы». У-ухх! – спихнул кой-как и захрапел успокоенно крошевом льда. А наутро проснулся, подымился похмельно, солнышко сбрызнуло его, опохмелило, и: я для работы готов! Чё делать-то надо, чалдоны?..

Чуть очистится Иртыш ото льда, как у окраины городка за островок тут же уцепится тросом паром-самолёт, и селяне с телегами начинают плавать в город на базар и обратно.

А тут и первый буксирик речным волком выскочил из затона. Заломил лихо трубу-мичманку и забегал туда-сюда. Волнами метёт, будто клёшем по танцплощадке. Добычу себе высматривает. А лодочки-молодочки сбились нос к носу у берега и шепчутся, и смеются, на кавалера поглядывая да на волнах покачиваясь. А тот метёт, тот старается! Ну, ду-

мает, амба, мозги запудрил – все мои! Иэхх! Только кинулся к лодочкам на танец приглашать, а тут откуда ни возьмись – баржа! И нависла женой, и поволоклась, и ни на шаг от своего законного. Вот тебе и – иэхх... Куда ж тут денешься, куда разбежишься? И загудел «кавалер» в баржу свою многотонную. Густо морозоусо: у-у-у-у-у-у! Однако и на берег покосился, и как бы жесточайший намёк лодочкам подал. Эткими уже элегантными гудочками: псик! псик! Словно усы в ниточку ногтем мизинца тронул. Раз, другой. Мол, вот, занят пока, но в ближайшем случае – иэхх! А сам плицами сучит почти на месте, посинел от натуги, законную-то волоча, но ниточку по-прежнему держит, блюдёт: псик! псик! пси-ик!

И вот как-то вечером отец принёс с работы газету, где было объявлено об открытии охоты. Он уже поменялся с напарником сменами, так что – полный порядок! Охотники, не обращая внимания на угрожающее гроыхание кастрюль из кухни, оживлённо обсуждали это радостное событие в комнате за столом. Но тут пришёл дядя Гоша. И как встретился с испуганными глазами Пашкиной матери, отвернулся и заплакал.

– Гоша! – кинулась мать. – Что с тобой?.. Ваня, да что же это? Гоша! Что случилось? Неужто опять?!

Вытирая рукавом слёзы, дядя Гоша молча кивнул белой, как снег головой. Пашка испуганно застыл за столом. Никогда не видел он таким дядю Гошу. А тот, как посмотрел на отца, опять скривился в плаче.

– Господи... Ваня! Что делать? Скажи!

– Успокойся, Гоша, успокойся, – вскочил и забормотал отец, сам наполняясь слезами – Лечить будем, успокойся, проходи, проходи...

– Да где лечить?! Лёвка Таврин вон, врач, и тот...

– В Новосибирск повезём, в Москву, успокойся, садись...

– Господи, Даша хоть, бедная, не видит! Но мне-то, мне-то за что? Ведь жить не хочу! Ваня! Вот уже до чего дошёл...

Пашка сжал кулаки: «Ну, Митька, встречу, – всё тебе выскажу! Терзать такого человека! Мы тебя скрутим, гада!» Пашка решительно вскочил из-за стола. Но тут же ожгло: «А сам? Сам-то я? Это ж он, Митька, привёл меня тогда... Он! У-у-у!»

Пашка упал обратно на табуретку. Голову опустил. Отвернулся.

В прошлом году на ноябрьские Пашка в неполные свои тринадцать лет впервые выпил водки и сразу опьянел.

Пили, закрывшись в махровской стайке. Сам Махра, Валька Ляма и Пашка. Махра достал из-за пустой бочки сперва гранёный стакан, снова наклонился и выдернул бутылку водки, задавленную сургучом.

– О, сучок! – радостно заширкался ладошками Ляма, как уже законченный выпивоха, знаток, профессионал.

– А ты как думал! – с гордостью ответил Махра. Тоже – как бы не ударил в грязь лицом. Стал оббивать ножичком

сургуч. Забулькало в стакан.

– Держи, Паха! – Махра протянул Пашке полный стакан водки.

– А не много налил? Вам-то меньше достанется, – побеспокоился о собутыльничках справедливый Паха.

– Не бойся! – успокоил его Махра. – Ровно три стакана из бутылки. Пахан вчера разливал друзьям – я видел. Пей!

– Ну, будьте здоровы тогда! – сказал по правилам Пашка, резко выдохнул – тоже по правилам, и выглотал стакан водки, как стакан воды, вернее не воды, а как стакан некоей терпкой изжоги, которая однако тут же прошла, не дав себя даже почувствовать как следует.

Снова забулькало.

– Держи, Ляма!

Маленький, круглоголовый Ляма заметался было, но куда денешься – взял. А стакан будто сам вцепился в него двумя руками, и Ляма, медленно запрокидываясь и топя сведённые ужасом глаза свои в этом стакане, начал судорожно вливать в себя водку... словно море целое накатами полезло внутрь его, и не отвернуться, и нет от него спасенья... Но – выпил. Покачнулся. Икнул и сказал:

– Здорово!

Махра вымахал свой стакан так же лихо, как и Пашка. Правда, чуть не вырвал всё обратно, но вовремя задавил. Кинутая, звякнула за бочкой бутылка, туда же полетел стакан. Постояли. Помолчали, прислушиваясь к себе. Под крышей

стайки, в большом ящике-голубятне шебуршились, ворковали голуби. «Ва-алька!» – послышался голос Ляминой матери из соседнего двора. «Гы-гы...» – заговорщиком подмигнул собутыльникам Валька. Хитрый Ляма – спрятался. Посмеялись.

И ударило по башкам, и начался кошмарный сон, бред. Будто бы вышли все трое из стайки, и будто Махра стал показывать на небо, где летал не то голубь, не то ворона. Вернулись в стайку, и Махра по лесенке полез в голубятню. Загремел оттуда с двумя растарашенными голубями в руках, и будто Пашка вытаскивал его из-за пустых ящиков и корзин, но сам опрокинулся и полетел в другой угол, с маху ударившись там головой о двухпудовую гирию. Но боли будто не почувствовал. Ляма и Махра начали вытаскивать Пашку. Голуби испуганно шарахались, ломали крылья в тесной стайке. Махра дико хохотал, глядя на бьющихся птиц. Потом повалился на спину и улетел опять за корзины, опрокидывая их на себя и матерясь. Пашка, будто обидевшись на Махру, вышел во двор и пошёл на улицу, но в широком, между глухой стеной дома и забором, проходе остановился и, покачиваясь, обернулся назад. На месте стайки было почему-то несколько по-осеннему промокших стаяк. Они кучились, лезли одна на другую. Пьяной гармонью растягивался, выгибался забор. У ног его в лужах валялся двор. И тут же маленький Ляма зачем-то вспрыгивал на доски забора. Будто пытался перемахнуть в свой двор. Но забор стряхивал его, отпинывал, и Ляма

отлетал, опрокидывался навзничь. Потом, скуля, пополз на карачках вдоль играющих досок забора, ступал руками как лапами, до крови рая их о ломкий, жёсткий бурьян. Ткнулся, наконец, в бурьян и затих.

– Все пьяные! Я тоже пьяный! Ха, ха, ха! – чётко, как сумасшедший солдат, засмеялся Пашка и с такой же судорожной, натыкающейся на невидимые углы чёткостью пьяного, сдёрнул себя с места, свернул за дом и пошёл неизвестно куда.

Где дяди Гошин Митька повстречался с Пашкой – неизвестно, но домой к Калмыковым приволоклись они вместе. Когда открылась дверь и они ввалились в кухню – оба пьяные, в грязи – мать попятилась. А Пашка запомнил только резкий белый свет лампочки, ударивший с потолка, и как продолжение этого сжатого света – вылетающие в ужасе глаза матери. Потом все провалилось...

...– Ваня! Видеть своего сына, своего ребёнка... выпестованного вот этими руками, видеть, как он... как он валяется, как он... точно цепями прикован к своей рвоте! Ваня! Что может быть страшнее?! Скажи!

– Успокойся, Гоша, успокойся, – всё бормотал в беспомощности отец. А дядю Гошу бил озноб, и он как в горячечном бреде говорил и говорил без остановки:

– Сто грамм! Ваня! Наркомовские сто грамм! Вот они! Вот они где вылазят! Ваня! А до сих пор умиляются: как же, отец родной, благодетель! Сто грамм! Даром! Да в огонь и

в воду за тобой!..

– Ты преувеличиваешь, Гоша, не надо, ты...

– И сейчас, и сейчас наркомовские! И сейчас! Только за деньги, за деньги! В одной забегаловке сто грамм, в другой, в третьей, в десятой – и ползёт строитель новой жизни на карачках в свой двор. Ура! Благодетель! Отец! Да многие тебе лета!.. А мы – молчим... Да об этом на каждом углу день и ночь кричать надо!

– Георгий, личное это у тебя. Не надо, прошу...

– Ли-ичное?.. Слезы матерей, жён, отцов, тюрьмы, набитые молодежью – это личное?..

– Но ведь никто не заставляет...

– Ага-а! Вон ты как!.. Не хочешь – не пей! Не можешь – не пей! Да это ж... это ж самая подлая, самая иезуитская политика! Спиваются-то – кто? Одарённые, таланты, самородки! Колунам, что в креслах сидят, ничего не грозит. Никогда не сопьются! Вот и воняют ехидненько, вот и воняют подленько: не можешь – не пей, никто не заставляет, хи-хи-хи... Ну как же: если водку убрать – всю милицию разгонять придется, все суды... тюрьмы закрывать! Ну а этого допустить никак нельзя! Ни в коем случае! Никогда-а...

Отец нахмурился, а дядю Гошу всё несло дальше:

– В Америке! В Америке пошли на сухой закон! Ведь было! Миллиардные убытки за десять лет! Миллиардные! Волки, зверьё, а пошли! Потому – работяга записался, прибыли стали падать. А у нас?.. Друг-товарищ-брат – и водка! Со-

циализм и море разливанное! Алкоголизм плюс электрификация всей страны! А? Ваня!.. Да Ильич из гроба бы встал, знай он, что сейчас стало! А мы ещё в коммунизм с пьяными шарами собираемся лезть! Да я... да я убить готов порой Митьку, а его не виню! Не виноват он! В корень надо смотреть, в самый корень: кому надо, чтобы народ пил? Кому?! Господи, кто услышит меня, кто?! Ваня, пойми, нельзя испытывать людей водкой, нельзя. Преступно! Подло! Ведь так и ползет вся грязь наша с водкой во главе из поколения в поколение. И дальше будет ползти. И не остановить её, и не вычистить никогда из нашей жизни. Как бы ни старались. И пойми, Ваня, всегда будет так, всегда! Пока водку не задавим, водку! Так болото и будет стоять. Незыблемо! Вечно! И всё новые и новые поколения засасывать, всё новые... А да что там! Мне-то что делать? Скажи! Вон у тебя Пашка растёт. Что он видит вокруг? Неужели не боишься?.. Все повернулись к забытому Пашке. А Пашка сидел, замерев в красном стыду, не мог поднять глаза на родителей и дядю Гошу.

В понедельник, за пять дней до открытия охоты, мать погнала Пашку на базар за картошкой. Заодно Пашка решил корм для голубей посмотреть. Свою картошку – три мешка осенью накопанных – умяли за зиму и не заметили. Накануне Пашка слазил в подпол – чисто! Вот уж мать накинулась на охотничков, вот уж припомнила им всё. И то, как поленились они резать картошку на три части, а резали только на две, когда сажали («Куда нам на три части, Маня! И надвое – за глаза!»), и то, как кое-как повтыкали ту картошку да и на охоту свою понесли, и ей, матери, пришлось потом за ними пересаживать. Всё припомнила охотничкам, всё-ё...

– Да ладно тебе, Маня, – примирительно сказал отец. – Пашка вон ходит на базар.

Маня хохлаткой подлетела к мужу.

– А денежки? А денежки? Вынь да положи?.. Сходят они. Герои какие...

Виновато крякнув, отец полез за спасительным кисетом.

...Длинный, без окон, глухой павильон сквозил чахлым светом, земляным духом картошки и суматошно путающимися в стропилах воробьями.

Выбирал картошку Пашка долго, добросовестно. Под насторожёнными глазами продавцов он мял, тёр, давил картошку, колупал, нюхал зачем-то её. Наконец выбрал и взял

полведра в сетку. Крупная тётка, упрятавшая под себя целый мешок картошки, как фокусник платочки, вытягивала из своего бурого кулака замусоленные бумажки – сдачу Пашке.

Пашка пошёл к мучному базарчику. Через дорогу находился он, под длинным, прокопчённым солнцем навесом. Будто крышу одну повесили в воздухе, а дом подвести под неё забыли. Мука там бывала редко, но корму «для птисы», как говорили чалдоны, – навалом. Мешки стояли по всему базарчику. Сам корм – осот, гнилые семечки, колотый горох, камешки, земля, пыль – в общем, «что нам не гоже, то вам дороже».

Пашка подходил к мешкам, черпал железной чашкой и нарочно сыпал «корм» над мешком высоко – пылища! – серый флаг на ветерке полощется.

– Проходи, проходи, байстрюк! – лузгая семечки, вяло отпугивали его краснощекие кержачки.

– А чего сор со двора смели – и продаете? – огрызнулся Пашка.

Спиной к тому ряду, где он шёл, стоял ещё один ряд мешков, и в нём возле какой-то девчонки-подростка всё время роился народ. «Муку продает», – догадался Пашка. Он продолжал рыться в мешках, но глаза его почему-то всё время вскидывались на эту девчонку. Несмотря на теплую погоду, та была в здоровенной задрипанной телогрейке с засученными рукавами, в длинной, мешком, юбке, взрослые кирзачи

на ногах, а на голове толстый, в клетку, платок. Пашка присел к очередному мешку, сунул в него руку да так и застыл...

– Ну чё расселся?! – заорала на него кержачка.

Да это же!.. Это же!.. Пашка боком, боком пошёл вдоль ряда, не сводя глаз с девчонки... Она! Старушонка! Гребнёва! Мукой торгует! Неужто ворованной?.. Да какой же ещё! Вот тебе и святоша-а!

Натыкаясь на мешки, Пашка продрался полукругом к концу ряда – сбоку уставился на старушонку. Точно! Она! Под крестьянку, под колхозницу, гадина, работает! Ишь вырядилась. И где только рваньё такое откопали? Вот тебе и Склянки. Вот это да-а!

К старухе всё время подходили покупатели, брали-перетирали пальцами муку, но старуха зло отталкивала их руки, будто мух отгоняла, и ровняла, ровняла муку, словно следы свои заметала... Вот так набожная! Вот так святоша!

Пашке показалось, что на другом конце базарчика промелькнула тётя Лиза... Тётя Ли-иза? Да какая она, гадина, тётя Лиза? Змея! Змейка бигудинная! Вот кто она! Ну ясно: эти гады оба здесь – не старуха же этот мешище притащила... Пашка заметался среди мешков, выскочил из базарчика и ударился домой. И про корм для голубей забыл.

На другой день Гребнёв, увидев Пашку во дворе, подозвал и спросил, почему тот не приходил вчера. Вечером...

– Некогда было! – Пашка ухватил в кулак заострённый конец штакетины, зло уставился на свои сапоги. – К экзаменам

надо...

– Зря-я не приходил, – Гребнёв будто не замечал Пашкиной злобы. – А я как раз вчера новый па-атронташ взял. В кульмаге... Айда, п-посмотришь? – кивнул он на свой дом.

И Пашка... пошёл.

Так ведь человека-то хлебом не корми, а дай поучить кого! Почти два месяца токовал Пашка глупым тетеревом у Гребнёвых. И оглох, и ослеп! Ну как же, всю жизнь его учили, зато теперь учит он! И распустил хвост, и токует! А там его слушают, там ему внемлют... И ведь узнал всё! Своими шарами увидел! Нет – снова попёрся!

Однако когда через полчаса «учитель» вывалился на крыльцо – физиономия его была зелёной. Точно не пирогами его накормили на сей раз, а по меньшей мере... неудобно даже говорить – чем!

И теперь, чем ближе подходил день открытия охоты, тем мрачнее и беспокойней становился Пашка. Гребнёв всё время подступался к нему насчёт отца: пойдёт ли тот с ними на открытие или нет? Пашка, отбиваясь, врал как мог. А если и вправду заикнуться отцу о совместной охоте с Гребнёвым?.. До колик хохотал Пашка от дикой этой мысли. Да, вот бы номер был! Но смех этот Пашкин, как говорится, был сквозь слёзы.

В эти дни Пашка перестал ходить в школу, болтался по городу с сумкой, набитой учебниками, заходил в магазины, торчал у кинотеатра, сидел на берегу Грязного, незряче уста-

вась на затопленный, словно тоже погружённый в тяжёлые мутные мысли остров.

Вечерами, возвращаясь домой, раскидывал для блезиру в кухне на столе учебники и сидел, отвернувшись к чёрному, загустевающему сумерками окну. Отец с матерью переглядывались, но молчали.

Наконец в пятницу вечером Пашка кинул себе круглую, «спасительную» мысль, мол, сводит он Гребнёва один раз, покажет, где и что, и будь здоров, не кашляй! – сам, один охотья! И Пашка немного успокоился, повеселел даже чуть, с отцом заговорил, с матерью, но кошки на душе скребли, не переставали. Эх, хоть бы Юра пришел...

Но Юра к Пашке давно уже не ходил.

Отец с резким скрипом раскидывал ставни и словно тяжёлые ржаные снопы швырял через подоконник, рассыпая их на крашеный пол, – вот это солнца!

– Эй! Сонные тетери! Вставайте!

– Ну сроду ни свет ни заря – и пугает! – тёрла глаза вскочившая мать, раскачиваясь в длинной мятой рубаше. Пашку смело с топчана – и он уже на крыльце, улыбается навстречу отцу. А тот бодро шагает по залитому солнцем двору, будто и не с ночной человек, а так – с приятной прогулочки возвращается.

– Пашка, а? – подходя, кивнул на небо. – Погодка-то? Как раз на открытие! – И, вытирая ноги о тряпку, спросил: – Ну, как решил? Едешь со мной?..

Пашка сразу сник.

– Ну-ну. Смотри. Дело хозяйское. – Отец нахмурился и обошёл Пашку так, будто коснуться даже его не хотел.

Постоял поникше Пашка. В кухню вернулся. Топтался, искал галоши. Надел на босу ногу. Поплелся в уборную в углу двора.

Паром-самолёт уцепился стометровым тросом за почти зализанный течением островок на середине Иртыша. Семнадцать карбасов, точно семнадцать скуластых казахов в ост-

роверших шляпках, растянулись в цепочку, перекинули по своим плечам тяжеленный трос и только команды ждут. Паромщик крутнул штурвал, понтоны носами вяло поползли в реку. Иртыш поднажал течением от берега, «казахи» подхватили, и паром полетел к противоположному берегу.

А над ледовым холодом раздетой реки, над обмирающе мчащимся паромом валом шла птица. Всё небо, будто натянутое, пело. Залпы чирков как ударялись о паром, – россыпью, со свистом рикошетили, снова сбивались в залпы за паромом. Повыше чирков шла кряква, свиязь, крохали, гусиные стаи. Инстинкт словно вытягивал их за длинные шеи на север, на север, на север! А ещё выше – журавли. Они будто попали на какую-то широкую приливную волну, и волна эта сама тащит их вперёд, а им только и остается, что балансировать своими длинными крыльями да испуганно-радостно вскрикивать.

Гребнёв, косясь то на небо, то на других охотников, торчащих ружьями по всему парому, задёргал Пашку за рукав:

– А чего никто н-не стреляет?

Пашка задумчиво стоял, облокотясь на перила. Оторвал взгляд от яростной, освободившейся воды, внимательно посмотрел на вздрюченного Гребнёва.

– А зачем?

– Как, как за-ачем? Утки, у-утки ведь!

– Ну ударишь, ну упадёт в Иртыш, а дальше?..

Гребнёв как на столб налетел, но не сдавался:

– Просто так. У-утки ведь, у-утки...

Пашка отвернулся, плюнул за борт.

...Сначала охотники шли вдоль Иртыша, вниз по течению, но разлив всё дальше и дальше теснил их от реки. А пройдя километра два, Пашка вообще перестал понимать, где Иртыш, где протока его или просто озеро. И всё это движется, течёт неизвестно куда, хороводы водит по пойме, и всё это надо обходить, искать переправу, брод. А тут уперлись в протоку – ни туда, ни сюда, – хоть назад поворачивай!

Пашка посмотрел на Гребнёва, на ноги его. Гребнёв беспокойно заперевирал жёниными сапожками. На мшистой серой травке. На самом Пашке сапоги отцовские, резиновые, по пах. Ещё днем, собираясь на охоту, отец молча швырнул эти сапоги Пашке. Он примерно знал, куда тот поведёт Гребнёва. Опустив голову, Пашка взял сапоги. Отец и Пашка не разговаривали. С испугом вскидывала на них глаза мать. Потом отцу просигналила с улицы полуторка, и он, вскинув на плечо вещмешок и ружьё, молча вышел...

– П-па-аш, а? Чего теперь? – испуганно заоглядывался по разливу Гребнёв.

Пашка поставил на землю ящичек с подсадной, скинул вещмешок, прислонил к нему ружьё. Долго искал какую-нибудь палку подлиннее. Потом полез искать брод.

Гребнёва тащил через протоку как куль. Рука Гребнёва сдавливала Пашке шею. Пашка крутил головой. От рукава телогрейки противно воняло калиной.

– Убери руку! – завывывался Пашка, став на середине протоки. Гребнёв пуще вцепился. – Р-руку!!

– Уберу, у-уберу!

Пашка встряхнул куль, побрёл дальше.

Как и рассчитывал Пашка, как и прошлой весной было, узкая коса длинно тянулась в Лопатино озеро, будто противоположный берег достать пыталась. Но вперёд косы туда Иртыш толкался и словно отодвигал берег тот дальше и дальше, размывая всякую разницу между озером и собой. Летом тут бывала довольно широкая, заросшая густым кустарником перемычка. А сейчас тут Иртыш распоряжается. Вон он как тащит по правую руку от косы. Зато по левую – в само озеро, будто набегавшись от половодья, отдохновенно расселись-расслабились кусты. Тут тишь, гладь да божья благодать!

Не дойдя метров пятидесяти до оконечности косы, до обмыска, Пашка стал. Огляделся. Позади, неподалёку, стожок оставили – будет где переночевать. А здесь, где стоят, и скрадок ставить самый раз: кустарник кругом и плёс мелкий напротив – подсадную легко будет с прикола пустить, да и уток стреляных достанешь. А утка-то так валом и валит на эту косу, точно и не коса это, а компасная стрелка. Точно всё рассчитал Пашка.

Пашка сбросил вещмешок на землю.\

Поздно вечером, поужинав сваренным тощим жёстким

селезнем, сбитым Пашкой уже в сумерки, охотники сидели возле костра. Говорить им было не о чем. Гребнёв поминутно курил и, оловянно плавя глаза в костре, бурлил, видимо, котелком, где и в чём допустил он просчёт. Пашка, когда молчание уже взводилось над головой дубиной, вставал, брал топорик и шёл на обмысок за дровами. У обмыска долго стоял, смотрел на несущуюся холодную черноту Иртыша. И начинало казаться ему, что это сама ночь чёрно навалилась на землю и шуршит, царапает, всхлипывает и несётся, тащит землю куда-то вниз. Пашка с испугом отстранялся от затягивающей черноты и смотрел через неё, через Иртыш, где вдали на берегу успокоенно тьякала огоньками маленькая деревенька... Пашка вздыхал, нашаривал какую-нибудь корягу, тюкал по ней, потом тащился к костру.

От воды слышались шлепки весел, поскрип одной уключины и, прошипев дном, к берегу пристала чья-то лодка. Загремела цепь. К костру медведем вывалил бакенщик Зырянов. Поздоровавшись, присел и сунул к костру свои ручки – точно пару добрых лещей коптить наладился. Глаза его озабоченно бегали. Пашка, зная характер Зырянова, ждал.

– Паш, ты это... пустую лодку случаем не видел? – спросил, наконец, Зырянов. – Может, в Лопатино занесло?

– Да нет, не видно было. А что случилось-то?

– Да понимаешь, какое дело, мать его в каталку! – оживился Зырянов. – Поплыли давеча, днем ещё, близнята мои,

ну Петька и Манька, на Красноталый. Немного погодя слышу оттудова – пищат. С острова-то. Руками машут, прыгают. Что за чёрт! Поплыл. А они, чертята, лодку упустили! Покамест тальник-то резали, лодку-то и сняло! Вода-то, сам видишь, как прибывает... Вот теперь и плаваю туда-сюда. Лодка-то казённая, мать её в каталку! Всё побросал. Не знай, засветила Маруся бакана, не знай – нет?..

– Засветила, дядя Коля, засветила! Чего, впервой ей, что ли? – успокоил его Пашка.

Зырянов вздохнул и будто только сейчас заметил у костра Гребнёва. Воскликнул удивленно:

– А это чё за хмырь с тобой?

Как отраву выплюнул фамилию Пашка. Стал поправлять палкой в костре.

– Скажи на милость... Гребнёв... – Зырянов с наивным любопытством физически очень сильного человека разглядывал Гребнёва. Как тлю какую-то диковинную. Гребнёв передёрнулся, отвернулся. – Ну да ладно! – поставил точку Зырянов, поднялся: – Спасибо, Паша, на добром слове! Дальше поплыву... Да-а! А Иван-то где? Неужто на открытие не пошёл?!

– Да как не пошёл! – забывшись, воскликнул Пашка. – В Кабаково он, в Кабаково!

– Чего ж не заходите с отцом-то? Ушицей всегда угощу. Заходите...

– Спасибо, дядя Коля! Обязательно зайдём!

Зырянов попрощался и как провалился в темноту. А чуть погода зашлёпал по ней вёслами. А вслед улыбался Пашка, и виделись теперь ему в пятящейся черноте маленькие Петька и Манька, радостными, захлебывающимися колокольчиками обзванивающие своего отца, когда тот – сам будто большой, густой колокол, обвешенный веслами и фонарями, – шествует по берегу к лодкам, на ходу добродушно поругиваясь, однако заранее зная, что никуда не деться ему от колокольчиков своих ненаглядных и возьмёт-таки он их, чертенят, с собой к «баканам». Так и катились они по галечнику целой звонной колокольней, и в речном звонном солнце прыгал вокруг них, словно дергал за верёвки, рыжий звонный пёс...

– Чего же ты п-про отца н-наврал? – ворвался и смял всё напряжённо-тихий голос Гребнёва.

Пашка взял топорик и ушёл на обмысок.

Гребнёв храпел, чавкал, поскуливал во сне, и Пашка долго не мог уснуть. Прелое сено кололось, крошась, лезло за шиворот. Пашка ворочался, зло пихал Гребнёва – тот затихал на минуту и с новой силой храпел и булькал.

Повернувшись на другой бок, Пашка стал смотреть на далёкую деревеньку. Огоньки затихали, засыпали по одному, и вместе с ними Пашкины глаза начали слипаться. Но тут же, словно падая в глубокую яму, Пашка выкарабкался наверх, жадно рванул воздуху и сказал странно и внятно: «Бедный Юра...» – и уснул.

Прошлым летом Пашка и Юра пошли раз на барахолку к Пашкиному тёзке – дяде Паше-инвалиду – за крючками-заглотышами на чебаков. С ребятами увязался Женька Пикущин – тощенький и радостный, как паучок.

Дядя Пашка сидел на месте, в углу барахолки, на земле, но был сильно пьян.

– Дядя Паша, заглотыши есть?

Дядя Паша поднял свое купоросовое лицо, долго, не узнавая, смотрел на троящегося Пашку, чихнул, как бы сметая с глаз дьявольское наваждение, и с облегчением опрокинулся на спину. И не он будто, а его деревяга-нога захрапела в небо. Да-а, сегодня дядя Паша не рыбак. Нет, не рыбак.

Ребята порылись в ржавых болтах, железках, гайках, рассыпанных на мешковине, и отошли.

День был будничным, и толкучка вялая. Двумя недлинными рядами стояли обжаренные в солнце тётки, сплошь обвешанные одеждой. Они будто ждали неведомо каких пловцов, которые пока где-то плавали, но вот-вот должны были появиться и, дрожа от холода, радостно одеться во всю эту одежду. Но «пловцов» нет и нет, и тёткам скучно и муторно стоять.

Ребята зашли в бревенчатый магазинчик «Культтовар». Весь «культтовар» внутри – будто срочно накиданные бар-

рикады: ящики до потолка, мешки, тюки, бочки какие-то, кровати, раскладушки – к прилавку не подойдёшь. В этом же доме, в забегаловке, «повторяли мужики». Боксерами разгуливали они по забегаловке с пышными пивными кружками на пальцах, высматривая себе местечко, где вдарить, значит, по мозгам. Возле ворчливой буфетчицы – мужиков тьма, но очереди – никакой. Потому что все «повторяют». А когда повторяешь – без очереди, значит, тебе. Святое дело – когда повторяешь!.. Ребята испытательно постояли в этой пивной жизни, как в каком-то веселящем, шkodном газу, и благополучно вышли на воздух, на солнце.

– А мороженое, наверное, лучше? Верно, Паша? – тончайше намекнул Женька.

Пашка рассмеялся.

– Юр, ты как?..

– Правильно! Всё равно не купили крючков.

Грязновато-белая мороженщица, завидев подходящих к её тележке ребят, завывала вверх и вбок:

– Фруктовое рубль на па-алочке! Сливочное три рубля в фо-ормочке! Фруктовое рубль на па-алочке-е! Сливочное три рубля...

Пашка остановил её и спросил у ребят, какое брать... Женька тут же предложил фруктовое. А? Как раз три выйдет? И на палочках?.. И заширкал ладошками – сам весь как на палочках.

– Юр, ты?..

– Как вы, ребята...

– Тогда берём одно в форме, – решил Пашка. – И питательно, и вкусно. А эти, на палочках, одна вода красненькая, замороженная. – Пашка протянул мороженщице зелёную трешку: – Побольше, побольше кладите, тётя! Видите, нас трое...

– Форма-то чего тебе, резиновая? – смеялась мороженщица, замазывая мороженое в формочку. Но положила с большим походом и, прихлопнув мороженое ещё одной вафлей, выдавила порцию Пашке. Ребята отошли в сторонку.

– Давай, Юра. – Пашка протянул мороженое Юре.

– А почему я?..

– Давай, давай! Я второй, Женька третий.

Женька сразу скис: а почему он третий? Но когда получил только вполовину объединённую порцию, закричал:

– Ура-а! Мне больше всех, мне больше всех!

Пашка и Юра улыбались.

– Ешь, ешь! А то вон какой худой...

– Это я не худой, Паша, это я жи-илистый! – верещал счастливый Женька, крутя порцию и слизывая мороженое синим острым язычком.

И тут ребята увидели этого странного старика с сидором и собакой. Тонконогий старик был в татарских галошах и, как в горбатых верблюдах, в рыжем галифе. Он топтался на месте, будто нездешний, озирался по сторонам. Вместе с ним, взятая на верёвочку, испуганно пританцовывала ры-

жая длинношёрстная собака, пушистая, как балерина. Люди удивленно обтекали их, оглядывались.

Наконец старик направил своих верблюдов к забору, в тень. Балерина доверчиво затанцевала рядом. У забора старик спустил сидорок на землю, и собака сразу стала тыкаться в него длинной мордой и повизгивать.

– Сейчас, сейчас, Ласка! Не суетись! – Старик развязал сидорок. И выкатил на землю целый помёт щенков.

Подбежавшие ребята ахнули. «Целых восемь штук!» – точно сосчитал тогда ещё дошколёнок Женька. А щенки хвостики закруглили лихо и давай раскатываться во все стороны, точно пузатые копилки, аж лапки кривые не держат их. Эко вон одного заносит: боком, боком потащило копилочку! А другой разом разъехался лапками, волосянчик закапал у него, удлинился – полное озеро и нарисовалось на земле! Мамаша хватъ! безобразника зубами за шкуру. А тот висит, лапки свесил, попискивает: «Не буду больше, мама! Прости-и-и!» – и волосянчик капает. «У-у, бессовестный!» – встряхнула его мать и сунула на мешок.

Посмеиваясь, старик скатал всех шалунов в кучку, обложил мешком, вроде запруды соорудил, сел на землю и, приклонившись к забору, полез за кисетом. Собака-мать улеглась сбоку, на пузаток своих уставилась – и ухо вопросом: неужели это все мои? Потом вскинула к хозяину длинную морду свою в рыжем пышном окладе – и язык радостной песней заколыхался в раскрытой, доверчивой пасти. Старик по-

гладил её. А она уже к ребятам повернулась, дескать, подходите, ребята, не бойтесь, я вас не укушу. Посмотрите, какие справные у меня пузатки и порадуйтесь вместе со мной.

– Дедушка, а она не укусит? – присев к щенкам, спросил Пашка.

– Нет, сынок, не бойсь! – прикуривая, ответил старик и, путив дымком, добавил: – Лаской её зовут – одно слово.

Ребята стали гладить щенков. А те знай возьмётся в запруде, перекатываются друг через дружку, играют, и раскрытые пастки сердятся – оч-чень страшненько!

Подошёл покупатель, поинтересовался ценой.

– А даром, мил человек, – сказал старик.

Покупателя сдуло.

Другой подходит, присел, руку запустил – щенков щеко-чет.

– Сколь за одного, папаша?

– Даром, даром, мил человек!

– ?!

– Бери, бери! Задарма – любого!.. Куда ж ты побёг, мил человек? Эко его! Испугался чёй-то, – удивился старик. Однако скоро понял, что не куда-нибудь, а на базар пришёл, значит, и вести себя как надо должен, и уже следующему покупателю, не будь дурак, резанул: – А шышнадцать! – да ещё глаз прищурил дошлым коммерсантом.

– Чё шышнадцать? – испугался покупатель.

– А шышнадцать копеек!

– А восемь?

– А десять!

– Беру, чёрт тебя!

– Держи! – и старик сунул покупателю пару щенков.

Покупатель удивлён, покупатель ошарашен, будто не ждал, не гадал – и двойнят в роддоме получил...

– Бери, бери! Десять – пара! – успокоил его старик.

Ну уж ладно, коль пара десять, приму. Так и быть, признаю, коль пара – десять. И, отдав старику десятик, покупатель помчался в овощные ряды, где торгует его жена, обрадовать прибытком: «Вот, считай, задарма достал пару шшанков, жана!»

Налетела стайка босоногих ребятишек, окружила старика и собаку. Смотрит на щенков, носы калибрует, головы ломает: где взять «шышнадцать»? Где?.. А старик разошёлся, а старик расторговался:

– Шышнадцать, мил человек! Держи пару за пять! Не надо пару? Держи одного! – И пошла торговля, и пошли щенки выстреливать из кучки один за другим: – Держи!.. Держи!.. Держи!..

Сперва Пашка смеялся над потешной торговлей старика, но, глянув случайно на Юру, оборвал смех. Юра стоял бледный и во все глаза смотрел на собаку. А бедная, глупая сука, если поначалу только мордой провожала непонятные взлёты своих дорогих брюшатов, то сейчас начала беспокоиться, дёргаться, повизгивать. Вдруг вскочила, сунула морду в

трех оставшихся щенков, обнюхала их жадно, но тут же легла на место, казалось, успокоилась даже, но глаза... глаза её уже с болью метались. Снова вскочила, яростно зарылась в щенков. Юра схватил Пашку за руку. Старик оттащил собаку, обнял, гладить стал, успокаивать, но ту уже накрыло ужасом – скулит, вырывается, глаза в боль убегают, не слышат, не понимают хозяина. Старик прижал-закрыв голову собаки руками. Закричал ребятишкам. Беспомощно, просяще:

– Чего смотрите-то? Забирайте щенков!

– Так ить, дедушка...

– Да задарма же... Ну-у!

Ребятишкам два раза повторять не надо: нагнулись, потолкались – щенки исчезли. И ребятишки тоже.

Собака кинулась, ткнулась в скомканный сидор. Замерла. Потом заметалась, задёргалась на верёвке, резкой дугой выгнулась – носом тычется, тычется в землю, под себя, вкруг, дальше, по галошам старика, по Юриным ботинкам, ещё дальше... Старик испуганно топчется, кулак с верёвкой поднял, как фонарём водит, точно высветить помогает, а собака тычется: как же!.. Господи!.. вот только же! где?! За что?! Вдруг вскинула голову, твякнула, и с самого дна собачьей души жутко хлестнуло по базару: у-у-у-у-у-у-в-в-у-у... Глаза закрыты, плачет, трясётся полураскрытая пасть: у-у-у-у-в-в-у-у... Старик и так и эдак: то за верёвку дёргает, то гладит, к ноге прижимает... У-у-у-у-у-у-в-в-в-у-у-у...

Вокруг стал завязываться народ.

– Чего это она?

– Да вот щенков у неё забрали. Переживает. Тоже мать...

– Эй, старик! А суку-то тоже продаешь, а?

Старик молчал. Он сворачивал сидор. Собака больше не была. Она оглушённо стояла, будто облитая водой.

– Я чего говорю-то, суку тоже про...

– Продал! – зло сверкнули глаза старика, он дёрнул за верёвку, пошёл к воротам. Сука покралась сбоку.

– Чудной старик! Сперва задарма, опосля за деньги, и ещё обиделся чёй-то... Чу-удной!

Народ стал расходиться. Столбами стояли Юра и Пашка. Женька, ничего не понимая, заглядывал им в лица. Не сговариваясь, быстро пошли к воротам, вышли на улицу, но старик и собака исчезли.

Вдруг Юра отвернулся и закрылся рукой.

– Юра, ты чего? Юра? – Пашка пытался заглянуть ему в лицо.

– Мама... бедная... я... я... она...

– Какая мама, Юра?!

– Она... она... – давился слезами Юра. – Она... не хотела... а он... он отобрал меня... Паша!.. Она искала меня... искала!.. а я... я... Паша!..

– Юра, брось, не надо, – в беспомощной тоске озирался по сторонам Пашка. – Прошу тебя, не надо, не плачь...

Испуганно задёргал Юру Женька:

– Не плачь, Юра-а-а, – и тоже запел: – Ы-ы-ы-ы-ы-ы-

ы...

– Я... я ничего... Женя... я сейчас...

Злорадным загоревшись интересом, к ребятам придвинулся какой-то дядька:

– Чё, пацаны, обчистили, да? Когда?

– Проходи, дядя! – злобно погасил его Пашка.

А Юра всё плакал. Склонённая голова его в кепке была на тонкой шее как худой, усохший подсолнух. Пашка не мог больше смотреть на него.

– Юра, не надо, прошу тебя...

Вдруг схватил его за плечи, затряс и как в бреду заговорил:

– Мы докажем, Юра! Всем скотам докажем! Слышишь? Ты – человек! Юра! Всем гадам докажем! Мы – люди! Мы поедem в Свердловск! Потерпи год! Мы поедem! Обязательно поедem! Ты меня знаешь! Слышишь, Юра?! Мы найдём её, найдём, Юра!..

А через два дня, в воскресенье, загорелось в квартире Колобовых.

Полина Романовна нечаянно столкнула с табуретки немецкой керогаз, только что ею самой заправленный бензином и зажжённый. Тут же рядом опрокинулась немецкая канистра, почти полная этого самого бензина. (Сергей Илларионович бесплатно отоваривался бензином у шоферов в гараже редакции.) Пыхнуло так, что громадная Полина Ро-

мановна вынеслась вместе с оконной рамой наружу, упала во двор. Юра, слава богу, был на улице.

Повыскакивали из домов соседи, стали плескать вёдрами воду, землю кидать лопатами, но полыхало уже вовсю, и подступиться к окнам, к двери, чтобы спасти что-нибудь из вещей, было уже нельзя.

Заполошно визжа, примчались брезентовые пожарники, быстренько раскидались шлангами по всему двору и от души пошли лупить из советских брандспойтов в окна по немецким вещам Сергея Илларионовича. И хотя грех это большой смеяться над чужим несчастьем, но в глазах сбежавшихся отовсюду людей плясало вместе с пламенем откровенное злорадство. В пятнадцать-двадцать минут выгорел угол дома, и образовалась разинутая, какая-то ненасытно-жадная пасть, в которую лупили и лупили пожарники из брандспойтов, словно никак не могли её насытить водой...

И как часто бывает на пожарах, последним прибежал сам хозяин. С сеткой, набитой овощами.

Он дико разглядывал эту, уже потушенную, чёрно-мёртвую парящую пасть на месте своей квартиры... Вдруг по-звериному взвыл, рванул рубаху на груди, обнажив сизую русалку с рыбьим хвостом, и пошёл на Полину Романовну.

– Сэрж, умоляю, Сэрж! – отступала Полина Романовна.

От удара Сэржа Полина Романовна падала прямо и медленно, как колода.

– Папа! Папочка! – кричал Юра, хватая отца за руки.

– У-убью, змеёныш! – Озверевший куркуль занёс руку.

Юра пятился, втягивал голову, втягивал, судорожно выкидывая над ней худые руки.

Кинулся отец Пашки, загородил Юру.

– Не смей, мерзавец! – И, покачав в руках лопату, предупредил: – Не смей... Убью на месте...

Из соседей не пострадал никто. У Чегенева, у милиционера, сторел половик на крыльце да чуть прихватило перила. Пожилой Чегенев пинал по двору дымящийся половик и приговаривал: «Ай жалкам половик, ай жалкам!..»

Пашки тогда дома не было, и пожара он не видел.

Всё озеро сплошь было завалено туманом. Откуда-то из-под него истошно орала подсадная утка. Между её крякающими страстными очередями слышались свистящие и как бы растворяющиеся после ударов шлепки. Это падали на воду селезни. Охотники, подрагивая от утреннего холода и возбуждения, тарасились из скрадка, но ничего не видели: ни подсадной, ни селезней. Пашка, ругаясь, вывалился наружу и, будто разгребая руками грязную вату, побрёл к подсадной. Испуганно затрещали крылья селезней. Пашка подтащил за бечеву вскрикивающую утку и, укоротив длину бечевы, воткнул кол чуть правее и ближе к берегу, где были хоть какие-то просветы в тумане.

Первым выстрелил Гребнёв. Вынырнувший в просвет селезень-крякаш на всех парах ударился к подсадной. Выстрел бросил его по воде.

– Есть! Есть! Мой! Мо-ой! – замолотился радостно Гребнёв.

– Тише ты! Скрадок развалишь!

Второго снял Пашка. Потом снова Гребнёв. А дальше всё смешалось и начался какой-то размытый сон, бред. Гремели один за другим выстрелы. Не переставая орала утчка: ещё! ещё! ещё! И охотники садили и садили из скрадка. За какой-то час было убито больше двадцати селезней. Глухие,

обезумевшие от страсти птицы, почти не обращая внимания на выстрелы, падали и падали из тумана за своей смертью.

Гребнёв был как в припадке: его трясло, било, руки-ноги ходуном. Как он перезаряжал ружье и вообще попадал в селезней – непонятно. Но бил он почти без промахов.

Поначалу Пашка тоже вошел в азарт: оглушительно шарahal из своей одностволки, выскакивал из скрадка, шумно метался по плёсу, торопливо собирал убитых селезней, и, покидав их в ямку под кустом, поспешно забирался на место. Но постепенно что-то сдерживать стало его, тяжестью наваливаться, тормозить. Стрелять он стал как-то через раз, словно забывая, что надо стрелять; по плёсу уже не метался, а угнетённо, как слепой, тыкался за утками, словно не видя их или забывая. Безумно высунувшись из скрадка, Гребнёв что-то зло склянчал ему. Пашка огрызался. Возле ямки что-то держало его, он подолгу стоял и смотрел на серую кашу из уток.

И отчетливо почувствовал вдруг он всю гнусность, всю подлость охоты с Гребнёвым и его подсадной. Господи, куда он влез? Куда вляпался?.. Пашка тоскливо замотался в сумраке скрадка.

Ещё зимой дядя Гоша принёс как-то журнал «Вокруг света», и там Пашка прочёл, как на Аляске добывают котиков. Врываются в стадо и бьют палками направо-налево глупых, неповоротливых, незащитных животных. Побоище! Кровавое побоище! У Пашки волосы шевелились на голове, когда

читал он про это. И выходит, он тоже... палкой... Огненной палкой! У-у-у!

– Ты чего? – на миг повернулся к нему Гребнёв. И тут же забыл о нем.

А подсадная утchonка, ведомая одним инстинктом, не обращая внимания на выстрелы, вытягивалась шеей к самой воде и, трепеща всеми перьями, с хриплой надсадой кричала быстренькими очередями:

– Кр-ря-я, кря-кря-кря-кря... Кр-ря-я, кря-кря-кря-кря...

Да они же с Гребнёвым два подлорожих, затаившихся... как их?.. сатунёра в скрадке! Сатунёра! И утка-прости-господи на воде! Ими выпущенная! А? Кто кого подлей?!

– Кр-ря-я, кря-кря-кря-кря... Кр-ря-я, кря-кря-кря-кря...

Жгучая ненависть к Гребнёву нахлынула, замутилась, потемнела в Пашкиных глазах. У, га-ад!.. Но лихорадочный Гребнёв ничего не видел, не слышал, не подозревал. Он только тянулся и тянулся в дырку вслед стволов, того и гляди, сам дробью в селезня полетит.

Во время выстрела Пашка успел подтолкнуть.

– Ты чего, ты чего! Твою мать! – вскинулся как ошпаренный Гребнёв.

– Нечаянно... – увёл глаза Пашка.

А селезень-дурак не разобрал в утренней серости свой счастливый номер, покрутился поблизости минуту-другую и

опять плюхнулся туда, откуда только что вытряхивался, ломая крылья, судорожной, дикой свечой. Гребнёв тут же ударил по нему.

Дальше Пашка тупо сидел и вздрагивал от выстрелов. Скрадок, как дырявый мешок, сыпался сеном. К ногам Пашки падали пустые папковые гильзы. Они прощально воняли едкой гарью и навсегда затихали. А поверх всего неистребимо висела, рвалась громыхающими бичами наружу, накрывала весь берег, весь плес проснувшаяся, непобедимая гребнёвская страсть.

– О! О! Сел! С-сел! Я! Я! Мой! М-мой! – И тут же бах! бах!..

И надрывающаяся на воде уточка казалась продолжением его граблистой жадности-страсти. Сутью его. Привязанным и дергающимся на верёвке кулацким нутром его. И сорвись оно с этой верёвки – заполонит весь плёс, всё озеро, небо всё, весь мир!..

– Кыр-ря-я, кря-кря-кря-кря!.. Кыр-ря-я, кря-кря-кря-кря!..

«А если б Юра?.. Если б он увидел?» – как по сопатке ударило... Пашка с шумом начал выламываться из скрадка.

– Куда? К-куда полез? – придушенно зашипел Гребнёв.

Пашка хотел просто уйти – и всё, но зачем-то сказал:

– Уток собрать... много уже. Покури пока. Устал, поди, бедный...

Гребнёв потемнел, но промолчал, стал пляшущими паль-

цами выковыривать из пачки пусто-сыпучие папироски.

Слева, из гор выдавилось чахлое, как яйцо-болтун, солнце. Туман стал красным, начал съёживаться, сворачиваться, пятиться к Иртышу и там, будто с горки, скатывался и уносился, красно растворяясь в быстрой воде.

Пашка собрал расстрелянных селезней и побрёл назад. Остановился у берега. Сгорбленный, с опущенными плечами. В одной руке ружьё, в другой – связка птиц. Поднял связку: побежала, заплакала вода. Зажмурившиеся головки селезней изо всех сил тянулись к чему-то... Пашка опустил руку, разжал пальцы – связка мягко вошла в воду и расколохнулась тушками на стороны.

– Кыр-ря-я, кря-кря-кря-кря!.. Кыр-ря-я, кря-кря-кря-кря!..

Пашка тупо смотрел на подсадную утку. И вдруг отчаянно, больно, словно навсегда сдирая в себе обманутого подростка, закричал:

– А-а-а! Га-а-а-а-а! Н-на-а-а! – И навскидку: ж-жа-ах!

Утку швырнуло, вплеснуло в воду, перепончатая лапка ца-рапнула воздух – и всё.\

Тишина. Ствол дымится у воды...

Сзади затрещал разваливаемый скрадок – и вытарашенно-белый Гребнёв плюется сеном.

И тихо, внятно, без заикания, как совсем другой человек: – Ты что ж это наделал, выкормыш комунячий?

И взвился фистулой:

– А-а-а?! Да я тебя... да я... У-убью-у!!

Гребнёв ухватился за концы стволов и, выскуливая, пошёл на Пашку с этой страшной дубиной.

– А-а! Долго молчал! Закрякал! – Пашка лихорадочно перезаряжал ружьё. – Тесно тебе в скрадке, тесно... – Перезарядил, вскинул – в упор: – Подходи! Враз башку снесу! Ну-у!!

Гребнёв побледнел, выронил своё ружьё. Пятясь, оступался, хватался за осоку, за кусты...

– Стой, гад! Не уйдешь! – И Пашка, потеряв голову, ударил по верху ненавистной башки.

Гребнёв плашмя шмякнулся в осоку, полежал и жабой скакнул вслед дыма, за разваленный скрадок, и дальше. Трещая кустами, скатился на другую сторону косы, к Иртышу, скрипнул галькой – и затих. Спрятался, исчез, провалился.

– А-а, гадина! Заныкался-а! Струхну-ул! А-а!

И Пашка, не то рыдая, не то смеясь, мучительно спеша отринуть, вышибить с косы – из жизни своей выбить Гребнёва, – как автомат перезаряжал ружьё и бил, бил и бил по пустым кустам, не мог остановиться.

– В партию захотел, гад? – Н-на тебе пяртию! Чтоб начальником стать? – В-вот тебе начальник! Чтоб воровать ещё больше? – Н-на, воруй! Пирогги твои поганые? – Н-на пирогги! Н-на! Н-на-а!! – полыхали, гремели выстрелы. В красном дыму дёргался берег, кувыркались в воду пустые гильзы па-

тронов...

Вдоль берега озера, по мелководью, раскачиваясь как пьяный, брёл к взошедшему солнцу паренёк. На нём горбилась телогрейка, кепки на голове не было. Резиновые, расправленные до паха сапоги везлись по воде вместе с висящим на руке ружьём.

Паренёк корчился, гнулся к воде, словно выворачиваясь, кашлял. Останавливался, кидал воды в лицо. Снова брёл.

Вдруг стал и схватился за голову. Ружьё плюхнулось в воду.

– Крякают! Юра! – раскачивался он, сдавливал голову. – Юра! Слышишь! Крякают, гады! Кря-якают!..

Всхлипывая, долго шарил по дну в ледяной воде ружьё. Снова брёл, таща за собой, как больную испарину, красные дымящие всплески солнца.